

Роман
Сенчин
Десятые

Проза недавнего времени

Лауреат премий

БОЛЬШАЯ КНИГА
ЯСНАЯ ПОЛЯНА



Новая русская классика

Роман Сенчин

Десятые

«Издательство АСТ»

2024

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сенчин Р. В.

Десятые / Р. В. Сенчин — «Издательство АСТ», 2024 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-158991-2

Роман Сенчин – прозаик, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», «Дождь в Париже», сборников малой прозы, в том числе «Остановка», «Нулевые». «Десятые» – сборник повестей и рассказов, написанных с 2011-го по 2020 год. Ностальгические и пророческие, про любовь и одиночество, жизнь и смерть, покой и тревогу. Простые сюжеты под пером Романа Сенчина складываются в летопись жизни, превращаются в историческое полотно.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-158991-2

© Сенчин Р. В., 2024
© Издательство АСТ, 2024

Содержание

Мои десятые	6
Зима	8
Барби	29
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Роман Сенчин

Десятые: проза недавнего времени

Художник – *Андрей Рыбаков*



© Сенчин Р.В.

© ООО «Издательство АСТ»

Мои десятиые

Ободрившись успехом книги «Нулевые» (за неполные два года тираж почти разошелся), я предложил «Редакции Елены Шубиной» для издания сборник «Десятые», в который включил повести и рассказы, написанные в 2010-е и о 2010-х. То есть, как говорится, по горячим следам.

Такой метод писания далеко не всеми приветствуется, есть стойкое мнение, что материал должен отлежаться, что нужно осмыслить событие или даже случай из частной жизни. Но мне интереснее брать горячее, колючее настоящее и пытаться зафиксировать его на бумаге в виде прозы. Бывает, попытки заканчиваются удачно.

Вроде бы 2010-е были только что, но мы живем уже в новой эпохе, новой реальности. Конечно, ничто новое, иное не возникает на голом месте, оно подготавливается, вызревает, но все же есть некий рубеж, отделяющий один период истории от другого. Нередко таким рубежом становятся календарные смены десятилетий, веков.

Перечитывая написанные в 2011–2020 годах повести и рассказы, чтобы выбрать наиболее подходящие для сборника, я часто удивлялся, как свободно мы жили. Пугающе свободно. Преодолели лихие девяностые (а для меня они действительно лихие – и злые, и удалые), кризисные в первой половине и тучные во второй нулевые, и вот вступили в десятиые...

Справедливо утверждение, что политикой интересуются, в политику идут в основном люди более или менее обеспеченные, не вынужденные каждодневно добывать средства к существованию и ломать голову над тем, как прокормить себя и семью.

События в Москве и многих крупных городах в 2011–2012 годах тому яркое подтверждение. Люди, переставшие бороться за существование в нулевые, в начале десятиых захотели перемен. Ощутили тоску и томление, а может, коллективное предчувствие страшного, которое нужно как-то отвести, предотвратить.

По-моему, не получилось. Попытка десятилетней давности напоминала скорее карнавал, чем революцию, и закончилась неудачей. Распахнутые настежь ворота свободы стали медленно, но неостановимо закрываться.

Я постарался обойтись в сборнике «Десятые» без политики, не включил в него многие вещи (например, повесть «Чего вы хотите?»), буквально пропитанные ею (как была пропитана и сама каждодневность очень многих людей), но тем не менее она, или, скажем так, общественная жизнь или пресловутая геополитика то и дело возникают и в «Зиме», и в «Помощи», в «Сугробе», в «У моря»...

И еще томление настоящим или предчувствие трагических событий – я сам не пойму, что изводит многих моих героев.

В отличие от повестей и рассказов девяностых, нулевых, в этих нет откровенных люмпенов, никто не голодает и не спивается, не кончает с собой, но, кажется, герои «Десятиых» более трагичны, чем те. В девяностых и нулевых было проще – там часто были отчаяние и уныние, а здесь появилась изводящая тревога.

Сама реальность оказалась не такой прочной, как я думал. Она менялась и меняется слишком быстро. В рассказе «Зима», написанном в конце 2011 года, легко можно узнать Феодосию (что отметили с недоумением некоторые читатели), но приметы жизни российские, цены соответствуют скорее рублям, чем гривнам, о российском футболисте Аршавине герои говорят «наш».

Не знаю, почему я выбрал местом действия Феодосию. Вряд ли потому, что тогда знал ее лучше, скажем, Анапы. Прошло чуть больше двух лет, и эта фактическая неправда исчезла. По крайней мере – формально.

Сейчас и спор героев рассказа 2014 года «Помощь» о том, что такое Родина, где кончается Россия, где наша земля и наши люди, а где нет, тоже вряд ли возможен. Вернее, аргументы у спорящих появились новые, да и тональность изменилась.

Когда я писал рассказ «Косьба» (2015), меня волновало будущее главной героини Ольги, а с ее ухажером Виктором, совершившим страшное преступление, вроде как все было понятно: получит огромный срок заключения, может быть, доживет до освобождения, но наверняка больным и сломленным. Но с год назад судьба его вполне могла измениться. Он вступает в «Вагнер», гибнет в бою или выживает и освобождается лет на десять-двенадцать раньше срока.

У сюжетов многих моих вещей 2010-х появилось неожиданное продолжение.

Я не писал хронику десятилетия, никогда не задавался такой целью. В некоторых текстах и время действия не указано даже примерно. Впрочем, тот или иной случай из жизни, как мне кажется, мог произойти примерно в тот год, какой я представлял, когда писал. Не позже, не раньше. История это лестница вверх или вниз, и каждый год – ступенька. А ступеньки чем-нибудь да отличаются; есть и такие, на которых обязательно оступишься, собьешь дыхание.

В этой книге десять ступенек. Десятилетие. Мои 2010-е.

2023

Зима

Почти каждый день я совершаю традиционный и традиционно бесплодный обход города. Что хочу найти, я и сам не понимаю, но хожу и хожу, и уже в сумерках, продрогший, злой, возвращаюсь к себе.

Наш дом называют Серой кривой пятиэтажкой. Есть еще Голубая кривая – ее панели покрыты голубоватой облицовочной крошкой. Нашу строили на несколько месяцев позже, и, видимо, на нее крошки не хватило – стены светло-серые. Наш дом сдали весной девяносто четвертого, с тех пор пятнадцать лет ничего в городе не строили, кроме разве что частных коттеджей, да и из них мало какие довели – в основном торчат до сих пор такие руины-заброшки, поросшие травой и кустами: место для пацаньих игр.

Дом стоит удобно – по соседству супермаркет, через дорогу парк, до моря два квартала, минут десять неторопливым шагом. Квартира на четвертом этаже, двухкомнатная, комнаты отдельные, не проходные... Правда, родителям пожить здесь довелось недолго. Отец, которому и давали квартиру (он двадцать лет проработал на прядильной фабрике), умер через год после переезда, а мать – через полтора. Рак обоих сожрал... От него многие в городе умирают, но об этом не принято распространяться – мы считаемся курортной зоной, летом здесь битком отдыхающих, а начини про рак трезвонить, наверняка перестанут ездить, и тогда нам всем быстрый и реальный каюк...

Родители умерли, и я остался единственным владельцем этих квадратных метров. Есть еще бабушкина хибара на Горе. Это далеко от моря, но Гора считается самым старым районом города. Там было одно из двух поселений, которые потом разрослись... Хибара ветхая и страшная, с мая по октябрь я в ней обитаю. Газ проведен, главное; на улице колонка с водой.

В этой хибаре мы с родителями жили до переезда в Серую кривую пятиэтажку. Получив ордер, звали и бабушку – «задавит тебя здесь потолком», но она отказалась: «Пусть лучше задавит, чем море смоет». Я долго не верил, что она всерьез боится моря, да и не она одна, а большинство старух и стариков на Горе. Посмеивался над полулегендой, согласно которой с тысячу лет назад случился страшный шторм, а может, и цунами какое-нибудь, и поселение рыбаков смыло вместе со всеми жителями. А люди, жившие выше, – виноградари и пастухи – уцелели, но гибель соседей произвела на них такое сильное впечатление, что и через сотни поколений море продолжало казаться людям с Горы опасным и враждебным...

Бабушка в центре города – то есть в низине – почти не бывала; моя мама, ее дочь, тоже никогда не рвалась туда, и если отец, уроженец дальней степной области, тащил нас на пляж, выискивала разные причины, чтоб не пойти.

Да, эта боязнь моря до недавних пор была мне дика и смешна, но почему-то теперь я все чаще думаю о том, что это тупое накатывание волн и редкие, почти игрушечные, штормы должны в конце концов смениться серьезным. Взбунтоваться, встать на дыбы... Наверное, множество людей ожидают и ожидали нечто подобное, но я ожидаю с чем-то вроде радости. Как какого-то избавления. От чего? Я и сам не могу себе объяснить. Все вроде нормально. Свобода, куча времени, денег в сезон заработать можно столько, что хватит на жизнь в оставшиеся пять месяцев холодов... Только вот... Только вот пустота и тоска, такая тоска, что хочется, чтобы случилось что-нибудь, пусть страшное, гибельное, но способное разбить пустоту и тоску.

Сейчас зима, февраль, и можно спать хоть круглые сутки. Но я просыпаюсь часов в пять. Долго пытаюсь забыться снова, устраиваюсь удобнее... Нет, подушка становится твердой, одеяло давит и душит. Во рту гниловатая сухость, глаза чешутся... Потом в голову начинают лезть мысли. Как провести этот день, чтобы не получился один в один как прошлый и позапрошлый, и недельной давности, месячной... Февраль как январь, как декабрь, ноябрь... На несколько

минут фантазирование чего-нибудь необычного увлекает и одновременно усыпляет, но тут приходят воспоминания о родителях, я начинаю представлять, что чувствовала бабка, пережившая свою дочь на три года, как она мучилась в одиночестве (я тогда навещал ее редко); я пытаюсь представить себя через десять лет, через двадцать. А в основном колют и царапают мысли, не оформленные во что-то конкретное, – просто заливают мозг неприятным, гадким, разъедающим. Кислотой тоски. Именно тоски. Самое правильное слово – тоска, хоть и заболтанное, обесцененное. Но, бывает, услышишь от кого-нибудь вздох: «Тоска-а», – и ледяной судорогой сводит грудь, и тянет зареветь, как в детстве, когда тебя несправедливо обидели. Взяли и просто так, ни с того ни с сего, для забавы или, хм, с тоски ущипнули, обозвали, ткнули...

Когда лежать уже невмочь, я сажусь на кровати, включаю телевизор, больше не для того, чтоб смотреть, а из-за мягкого света, который он излучает, и нахожу сигареты.

Курю, таращусь в экран, прочесываю дистанционкой программы... Повторы вышедших из моды сериалов, черно-белые советские фильмы, клипы малопопулярных певцов... Смотреть нечего, да и вообще как-то нечего смотреть – в какое бы время ни включал телевизор, какую бы программу, всегда тянет переключить на другое или вообще щелкнуть красной кнопкой.

Но щелкну, и что останется? Неживая полутьма, тишина, рождающая мысли, от которых становится жутко. Пусть лучше это...

Давлю в пепельнице докуренную до фильтра сигарету, поднимаюсь.

Довольно тепло. Значит, на улице без ветра, – при ветре, как бы ни грели батареи, в квартире зябко. Правда, рамы я не заклеиваю – лень возиться. Да и без толку – от этих ветров только стеклопакеты спасают...

Тащусь в туалет. Позевывая, покашливая от горькой слизи в горле, мочусь. Спускаю воду. Белый маленький счетчик над бачком закрутил свою крыльчатку, красный валик справа стал менять цифры, отсчитывая потраченные литры... Черт, опять забыл плеснуть в унитаз воды из ведра! Вот же оно, рядом, и пластмассовый ковшик плавает... Из всех сил стараюсь экономить и постоянно срываюсь.

Но так как-то уютно, приятно становится, когда слышишь, как наполняется бачок, что-то там шипит и посвистывает...

Зажигаю на кухне колонку. Потом – плиту. Ставлю чайник... Электрочайники у нас не прижились – слишком много жрут электричества, а газ пока относительно дешевый. Да и вредны, говорят, эти электрочайники. Пластмасса. Пользуются ими в основном на работе...

Мысли, хоть и такие мелкие, ничтожные, как сейчас, разгоняют бесполезную, не перерастающую в сон дремоту; я двигаюсь быстрее, словно у меня впереди масса важных и срочных дел.

Пару раз обжегшись (отрегулировать воду невозможно), умываюсь, надеваю треники, стеганую рубаху. Делаю чашку кофе, пью перед телевизором. Мировые новости сегодня пресные, никаких катастроф. Фильмов интересных нет (кто их будет смотреть в половине шестого утра?), по MTV какое-то реалити-шоу вроде «Дома-2», – тоже молодежь делает вид, что пытается полюбить друг друга. То обнимаются, то матерятся и бесятся. Смотреть скучно... Сейчас я кажусь себе, в свои тридцать шесть, всё знающим, всё испытавшим стариком. Хотя что я знаю, что испытал?.. Несколько секунд поисков в своем прошлом хватает, чтобы меня скрутил новый приступ тоски. Ведь ничего, совершенно ничего особенного, ничего, за что бы зацепиться, посмаковать приятное или ужаснуться, когда я был на волосок от гибели...

Ровная жизнь. И даже смерть родителей мне иногда представляется не бедой, а благом. Сейчас бы давились здесь, в этой двухкомнатке, отец бы с матерью раз в неделю ругались из-за какой-нибудь мелочи (а точнее, из-за утомления друг другом, собой, собственным бездельем), и я бы наверняка ввязывался в их грызню... Полно таких семеек...

Но родители умерли, почти не мучаясь (рак обоих сожрал за несколько месяцев), и оставили меня одного. Одного в этой квартире-кормилице. Я сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, ни от кого не завишу, ни под кого не подстраиваюсь.

Только вот... Только невыносимо... Слабенькая бодрость, возникшая во время умывания, приготовления кофе, улетучивается, и я бессильно разваливаюсь в кресле, как переваренная рулька.

Нет, не надо! Вскакиваю, встряхиваюсь, хватаю сигарету, зажигалку. С пепельницей в руке хожу по комнатам, заворачиваю на кухню, оглядываюсь, будто ищу что-то важное. Сам не знаю что, но важное, способное помочь и спасти.

Остановился перед книжными полками... Я по несколько раз утром и вечером перед ними останавливаюсь. Внимательно смотрю на корешки... На самом деле все читано-перечитано. Джек Лондон, Купер, Пикуль, Лермонтов, Скотт, трехтомник Александра Грина... Романтика, необыкновенные приключения, страсти и путешествия, сбывшиеся надежды... От воспоминаний о том, как жадно я поглощал все это, становится еще хуже, и я отбегаю обратно к телевизору...

Покупать другие книги или брать в библиотеке не хочется, точнее, страшновато – неизвестно, что там найдешь, под обложкой. Да и что нужно искать в моем положении? В моем непонятном положении...

Иногда я прошу дать что-нибудь почитать Наташу, но не потому, что жажду именно читать, а чтобы поддерживать отношения с ней. Брать и отдавать книги – хороший повод встретиться, разговаривать, рассчитывать на нечто большее... Хотя с этого большего у нас отношения и начались – секс в первый же вечер знакомства, – а потом пошли по нисходящей. Или, наоборот, теперь они настоящие, а тот секс был приступом животности и отчаяния. Не знаю... Не знаю, не хочу анализировать, просто раза два-три в неделю прихожу в музей, где Наташа работает, и отдаю ей очередную книгу, беру другую.

Она пичкает меня Серебряным веком. В основном, конечно, стихами. Позавчера, например, дала толстенький том Марины Цветаевой. Я полистал, наткнулся на строки (уголок страницы с ними был загнут):

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки, —

и захлопнул. Дальше читать желания не возникает. Распалить в себе эту мерзкую тоску, тем более при помощи стихов, – последнее дело. А она ведь там повсюду, тоска, в Серебряном веке. Везде про умирание, распад, тревогу какую-то неосознанную... Мы с Наташей несколько раз спорили, – ей, наоборот, такие стихи уверенность в будущем почему-то дают, – следующий спор может закончиться ссорой. Ссориться не хочу, боюсь. И так не с кем общаться... А до лета еще далеко.

Занимая голову подобными размышлениями, мучаясь и слегка как-то играя с этой мукой, я убиваю часа полтора. За окном светает, становится немного легче... Иду на кухню, чтоб приготовить завтрак. Точнее, найти, что там есть пожевать в холодильнике.

В кастрюле остатки сваренного дня два назад риса. Кусок вареной колбасы, кефир...

Ставлю на плиту сковородку, наливаю немного масла. Поджариваю колбасу, разогреваю рис. Посимпатичней выкладываю на тарелку, в рисе делаю углубление, лью туда кетчуп. Отрезаю кусок хлеба. Возвращаюсь в комнату.

По телевизору как раз региональные новости. Проблемы с отоплением, сложности на дорогах – гололед; а вот и наш город: какая-то пожилая рыхлая женщина плачет. Ей вручили бумагу, что нужно в течение десяти дней освободить комнату в рабочем общежитии. Комната аварийная. «И куда я?.. Куда я?» – задыхаясь, спрашивает она, потрясая листом... Потом журналистка берет интервью у пресс-секретаря администрации. «Никто на улице не останется!» – заверяет он.

Наверное, не останется. Но я начинаю представлять, что вот такая же бумажка приходит мне. Да я с ума сойду, соображая, как упаковать вещи, что вообще делать. Хотя... Я знаю ту общагу недалеко от нефтебазы – кирпичная пятиэтажка, похожая на руины. Может, у этой женщины появился шанс изменить жизнь, получить хоть однушку, но в нормальном доме.

Да нет, какой шанс... Переселят в другую нору, потом, лет через пять, снова велют собирать в баул трусы и кастрюли и куда-то идти. И так до конца... Мне хочется, чтобы на ее месте сейчас была девочка лет двадцати пяти. Плачет и спрашивает в камеру: «И куда я? Куда?!». Не очень симпатичная, простоватая, глуповатая, но это даже хорошо... И я мчусь к ней, предлагаю: «Переезжай ко мне». Конечно, никаких прописок – пусть живет на правах домработницы. Отведу ей комнату, буду раза три в неделю с ней спать, изредка выводить в кино или в кафе...

Усмехаюсь этим фантазиям, отложу пустую тарелку на кухню. Мою. Когда открываю горячую воду, колонка начинает выть, как немецкий самолет в фильмах про войну.

Закончив, выключаю газ, поворачиваю вентиль на трубе.

Смотрю в окно. Пасмурно, пусто, деревья неподвижны... Да, ветра нет, и это редкость. Прогулка сегодня должна получиться приятной... Прогулка... Скорее, панический поиск непонятно чего. Неизвестно чего.

Шляюсь по знакомым, с детства изученным улицам и ищу, ищу. Вот сейчас возьмет и блеснет это нечто. Озарит, согреет, спасет. Как в книгах... В каждой из нескольких десятков прочитанных мной за жизнь книг что-то случается хорошее. Конечно, герой преодолевает массу преград, проходит кучу испытаний, но в итоге обретает счастье.

Я тоже готов преодолевать преграды, согласен даже погибнуть. Но где эти испытания, где враги, с которыми нужно сражаться? У меня – вереница бесцветных дней, вроде бы вполне благополучных, но они складываются в пустой год, и этот год уходит в небытие. Растворяется, будто и не было. Ни какого-нибудь десятого февраля, ни двадцать третьего января, ни семнадцатого января, ни даже четвертого декабря – дня моего рождения.

Летом еще более-менее – летом тепло, многолюдно, суетливо и празднично в нашем городе, и ощущение, что найдешь нечто спасительное, сильнее. Хотя ближе к холодам становится ясно: это обман. Глазение на девушек в купальниках, танцы и катанье на аттракционах, два-три-четыре совокупления с подпившими лохушками, пачечка полученных за съем квартиры, за таскание шезлонгов и разные мелкие подработки денег, вот и все. И дальше пять месяцев почти полного одиночества, почти полной тишины и непрерывной тоски. Но в эти холодные месяцы я начинаю искать еще активнее – кажется, что меня, одинокого, на пустынной улице, это спасительное нечто заметит скорее, чем в летней суете... Или я его замечу и обрету?.. Какая разница...

Да, от такой жизни немудрено и заговариваться, впасть в какую-нибудь веру. У нас зимой в городе и людей почти нет, но кто остается – поголовно верующие. Разнообразные христиане, свидетели Иеговы, мусульмане, караимы, даже сатанист один есть – живет в доме напротив. На закате у него обострения наступают, и он проповедует с балкона. Ни для кого угрозы не представляет, не пристаёт со своей верой, и его не трогают... Наташа верит в поэзию, моя одноклассница Ира – в принца. Да, все во что-то или в кого-то верят.

Медленно, как бы тайком от себя самого, я собираюсь на улицу. Вот сменил треники на джинсы. Побродил, подобрал свитер со спинки дивана... Потаскал по щекам лезвия электро-бритвы... Еще побродил по комнатам. Выключил телевизор.

Ну что, пора идти. Пора искать.

Посмеиваясь над собой, обзывая шизоидом, романтиком, открываю дверь, выхожу на площадку. Запираю оба замка. Что ж...

Спускаюсь по лестнице. На щитках – навесные замки, части счетчиков нет: жильцы переставили их внутри квартир вскоре после заселения. От греха подальше. Воровали тогда всё подряд – белье с веревок во дворе, колеса у машин или целиком машины, провода срезали, оставленные на минуту тазы и ведра возле подъезда... Может, даже не из-за нужды воровали, просто время было такое, когда не воровать было труднее, чем тащить все, что плохо лежит.

Сегодня воруют меньше и вообще как-то бережнее друг к другу относятся. Словно оставленная на утонувшей подводной лодке команда. Знают, что уже не спастись и убивать друг друга бессмысленно. Так вот бродят по кварталам-отсекам, чего-то ищут, на что-то надеются. Очередное лето дает очередную надежду, пусть слабую и иллюзорную, а очередная зима добивает...

Мусоропроводы заварены. Уже лет десять мусор выносим в контейнеры, стоящие во дворе. Сделано это в целях экономии – сгружать в машину содержимое трех металлических коробов дешевле, чем подгонять ее к каждому подъезду. Да и для нищих (настоящих бомжей у нас, кажется, нет, а нищих немало) – возможность покопаться в отходах, найти что-нибудь для себя нужное.

Поначалу многие ленились нести ведра и пакеты от квартиры до контейнеров – валили мусор или возле бесполезной теперь трубы, или у дверей камер приемников; некоторые, живущие на верхних этажах, выбрасывали его из окон.

Но постепенно приучились. Постепенно ко многому приучаются. У некоторых, знаю, экономить на всем – цель жизни. Это у них типа спорта. Встречаются неплохо одетые, не изможденные голодом люди и хвалятся друг перед другом: «А я в прошлом месяце на три десятых кубика воды меньше потратила!» – «А я света нажег на сорок семь киловатт всего. Учись!» И когда слышу такое, представляется, как на ощупь передвигаются по темной квартире и делают глоток воды, когда хочется выпить всю чашку, как недокипяченной водой чай заваривают, пасту на щетке оставляют, чтоб ею же вечером зубы почистить, сталкивают говляшик палочкой в сухую дыру унитаза. «Экономия!»

Стоило во двор выйти, со всех сторон – из кустов, из-под жестяных гаражей, из подвальных отдушин – ко мне бросаются кошки. С десятков, а может, и больше. Но увидели, что в руках нет ни кастрюли, ни пакета с объедками, тут же потеряли интерес и потрусили в свои укрытия. Две-три недовольно мявкнули, словно я обязан был их угостить.

Кошек в нашем городе полно. Думаю, что сейчас их больше, чем людей. Они не то чтобы бездомные, а какие-то общие. Пожилые женщины и дети их подкармливают, играют, гладят. У нас любят кошек. Даже собаки не трогают.

Мне часто кажется, что кошки и есть хозяева города, что им одним здесь по-настоящему хорошо. Я не вижу богачей, действительно дорогих автомобилей; у нас нет шикарных отелей, закрытых клубов и тому подобного; элитных собак я тоже не встречал. А вот кошки разные, немало, видимо, и породистых. Но главное, они ведут себя как короли жизни. Даже в ненастные дни находят удобные и уютные пятки, лежат и поглядывают на торопящихся с презрением и недоумением. Дескать, зачем бегать? Бегай, не бегай – ничего не набегаешь.

Город я обхожу то по большому кругу, то по малому. Малый – это, в общем-то, центр, а большой... Сегодня погода позволяет совершить этот большой круг... Сначала на восток, по улице Сиверса до забора пустующей военной базы (она вообще-то охраняется, но солдат там

нет уже лет пятнадцать). Потом по Геологической, Таманской – на север. Мимо нефтебазы, элеватора, ТЭЦ, руин прядильной фабрики, на которой работали мои родители... Таманская улица постепенно поворачивает на запад; я перехожу на Вторую Профсоюзную, прохожу мимо школы-интерната, стадиона «Кристалл», детского дома. Справа начинаются поросшие деревцами холмы, затем холмы сменяются оврагами и карьерами. Вторая Профсоюзная, уперевшись в очередной овраг, кончается, но немного южнее начинается улица Володарского.

Какие-то склады, ангары, ржавые ворота, запертые на такие же ржавые навесные замки. Дальше – довольно крутой подъем. На более-менее ровных участках склона – хибары. Это и есть поселение виноградарей. Домишки покрыты черепицей, тяжелой и крепкой, надежной. Из-за этой черепицы хибары напоминают присевших и умерших ящеров. Пришли сюда миллионы лет назад попасться, присели, спрятали головы и ноги, оставив на виду шершавые, покрытые панцирем спины, и так вот остались. И в их скелетах поселились люди. И живут...

Я открываю хлипкую, из жердей, калитку. Вхожу в свою хибарку. Проверяю, все ли нормально. Осторожно поталкиваю держащие центральную потолочную балку подпорки. Иногда топлю собранным вокруг ограды мусором печку, чтоб дать понять хибарке, что о ней заботятся и разваливаться пока рано.

Слушая, как щелкают щепки и сучки, шипит пластик бутылок, я вспоминаю родителей, бабушку, представляю деда... Он серьезно отремонтировал этот домик в начале шестидесятых и вскоре умер. Снова ремонтировать бесполезно – надо перестраивать. Хибарке лет сто, а может, двести... Если верить бабушке, наша родова жила здесь всегда. У нас и на Старом кладбище есть свой участок. Она водила меня в детстве, показывала, кто где лежит, перечисляла имена покойников... Мои прадеды и прапрадеды, их племянники, племянницы, братья, свекрови, золовки...

Теперь я редко бываю на кладбище. Тяжело не то чтобы видеть могилы мамы и отца, а думать, что я вполне могу оказаться последним на этом фамильном прямоугольнике. Да и наверняка меня здесь не похоронят, напиши я хоть сто завещаний с просьбой. Закопают на Новом в степи. Мне стоило больших усилий похоронить маму здесь, рядом с ее мужем, а ей, до того, пришлось долго хлопотать о захоронении там своего мужа. «Ну как он один среди чужих будет лежать? – помню, плакала, сама уже больная, полумертвая. – Там тем более место есть... Все санитарные нормы... Пожа-алуйста!» Ей пошли навстречу, потом навстречу пошли мне – я тоже очень просил. А кому пойти навстречу в моем случае? Если умру дома, меня и не хватятся, пока не запахну...

Весной, перед Пасхой, я подновляю надписи на памятниках родных, убираю мусор. Года три назад поправил металлическую витую ограду, которой кто-то когда-то обозначил наш участок, но она снова покривилась – ржавчина съедает столбики. Необходимо менять хотя бы их, но на это понадобятся деньги. Прилично денег. Вообще-то я могу скопить, но есть ли смысл продлевать жизнь этой ограде? Через тридцать, или пятьдесят, или семьдесят лет она все равно исчезнет, через сто лет повалятся памятники, участок зарастет кустами, деревьями...

В хибарке почти все так же, как и при бабушке. Темная тяжелая мебель, в основном самодельная (мастерила потомственно одна семья до начала восьмидесятых, потом на их комоды, столы, буфеты спроса не стало, и семья как-то распалась и вымерла), обесцветившие от пыли занавески, репродукции картин Шишкина. Телевизор «Рубин» на комод, и сам напоминающий комод. Я бы давно сменил его на современный (цены сейчас на телики, да и вообще на аппаратуру смешные), но показывает хорошо, хотя нагревается долго, и иногда что-то в нем начинает гудеть, и тогда кажется, что вот сейчас «Рубин» вспыхнет, взорвется. Нет, не взрывается, гудение смолкает... Просто так брать и тащить на свалку – жалко. Пускай живет пока. Тем более в квартире у меня «Самсунг», но летом его смотрят квартиранты-туристы. Без телевизоров, как и без стиральных машинок, утюгов, кондиционеров (или вентиляторов в крайнем

случае) квартиры котируются слабо. Некоторые отпускники уже и без интернета вселяться не хотят: «А как мне с миром общаться?! Нет уж, спасибо».

Попроведав домик, спускаюсь по улице Овражной до школы номер три, в которой учился. Если встречаются люди, здороваюсь. Правда, знакомых почти не бывает... Когда живу здесь летом, то ни с кем не общаюсь. Соседи сменились, теперь это какие-то то ли переселенцы из сел, то ли бедные дачники, которым не хватило средств на нормальные участки. Они копают сухую каменистую землю, пытаются здесь что-нибудь вырастить, но ничего не растет. Хорошая земля дальше, на противоположном склоне холма. Там виноград. Наверное, и поселение основали именно здесь, чтобы не занимать плодородную почву. Впрочем, вид неплохой: далеко внизу море, отсюда безопасное, игрушечное; город, живописно лежащий серпом вдоль залива. Зелень парков, купола церквей, минарет мечети, остатки крепости.

Да, население этого района за последние двадцать лет сменилось чуть ли не полностью (кому-то дали квартиры, как нам, другие уехали, кто-то умер). Кой-какие хибарки совсем покоились, даже стекла полопались из-за покривившихся рам, но в них живут... В народе район называют теперь Бичёвка. Хм, а когда-то Виноградное. Не воруют – и ладно...

Школа все такая же. Двухэтажное беленое здание с выцветшей надписью над входом «Добро пожаловать!». Рядом спортивная площадка – турники, шведская стенка, баскетбольные кольца без сеток... Спортивные сооружения каждую весну красят, но краска отколупывается, шелушится, и наружу лезет колючая ржавчина. Когда-нибудь очередной школьник станет подтягиваться, и турник рухнет; метнут мяч в кольцо, а оно рассыплется в пыль...

От школы поворачиваю на запад, на Подгорную. Миную пенсионный фонд, центр занятости – трехэтажный, с большими зеркальными окнами. Я оформлялся как безработный еще в другом месте – в кабинетике при собесе. Потом – в начале двухтысячных – наплыв граждан стал таким мощным, что пришлось возводить отдельное здание. Но вскоре обращаться в центр почти перестали. То ли ищущие работу закончились, то ли своими силами проблемы решают, то ли просто плюнули... Раз в месяц мне приходят на книжку несколько сотен, в определенный срок я переоформляю документы; иногда меня вызывают, чтоб предложить устроиться то дворником, то грузчиком, то курьером. Я отказываюсь. Отказываюсь не нагло, конечно, чтоб не злить тетенек, ссылаюсь на боли в спине (они действительно бывают, пару раз даже «скорую» вызывал, просил укол поставить), на предрасположенность к простуде. «Нет, дворником никак... Я не брезгую, но... Зимой постоянно на бюллетене буду... Летом... У меня солнечный удар в детстве был... Не могу долго на солнце... Курьером?.. Извините, но ведь это для студентов... Может быть, подождем, когда что-то серьезное появится. Я ведь все-таки техникум закончил...»

Тетеньки соглашаются. Они явно не горят желанием устроить меня на работу во что бы то ни стало. Им, кажется, самым неловко предлагать мне, тридцатишестилетнему, имеющему диплом со специальностью «Монолитное строительство», работу, которую может выполнить и дрессированная обезьяна.

Да и появившись подходящая вакансия, я вряд ли ее займу. Я нигде никогда не работал – только подрабатывал, – не могу представить себя, месяц за месяцем, год за годом идущим одним маршрутом в определенное место, пребывающим там по восемь часов... Помню, как после довольно долгого перерыва столкнулся в ресторане «Прибой» со своей одноклассницей Ириной. Я зашел туда однажды, решив вкусно поесть, выпить хорошей водки. И увидел ее в фартучке, с этой белой официантской наколкой на волосах. «Ты что здесь делаешь?» – изумился. И услышал спокойно-усталое: «Я здесь старею». Я не хочу попадать в ситуацию, когда и мне подвернется на язык подобный ответ.

Лучше уж стареть в одиноком кружении по городу.

От центра занятости на юг ведет улица Победы. Очень тянет свернуть на нее и через десять минут оказаться у моря. Поговорить с Ириной, Наташей... Но я иду на запад по Октябрьской, убеждая себя, что мне очень нужно увидеть то-то и то-то, и внутри крепнет уверенность, что там-то, или там-то, или там-то вдруг произойдет неожиданное и в то же время давно ожидаемое. То, что изменит вялое и бесцветное течение жизни. Моей маленькой, но родной и единственной жизни... Я не верю в реинкарнацию и тому подобное. Это придумали для того, чтобы не слишком сильно страдать от пустоты и преснятины. «Если в этой жизни не повезло, значит, в следующей повезет чуть больше», – саркастически поется в одной песне. Да, многие только на это и надеются.

Октябрьская выводит меня к храму Всех Святых. За ним – Старое кладбище, напротив храма – автовокзал. Я вижу таблички на лобовых стеклах автобусов с названиями ближних и дальних городов. Даже «Волгоград» есть. Но почему-то не верится, что автобусы окажутся в этих городах, что они вообще сдвинутся с места. К тому же и пассажиров в них нет, и водительские места пусты. Пуста и привокзальная площадь. Совершенно пуста. Ни одного человека, ни собак, даже ветер не гоняет бумагу и целлофановые пакеты. Застывший, умерший мир.

Становится жутко. Я закуриваю, но тут же сбиваю уголек с сигареты и торопливо вхожу в церковь.

Уютная полутьма, иконы, лампадки; женщина в платке отковыривает столовым ножом воск с желтого подсвечника... Стою и радуюсь, глядя на ее движения. Энергичный, немеханический скрежеток металла о металл – как музыка... Мысленно объясняю себе, что все нормально, люди есть, просто греются внутри автовокзала, что в положенное время водители сядут за руль, заведут моторы, в салонах наберутся по десять, пятнадцать, тридцать пассажиров. Может, поругаются слегка из-за каких-нибудь пустяков, из-за мешка в проходе, и покатают в Ростов, Краснодар, Волгоград...

– Свечку хотите купить? – громким шепотом спрашивает женщина.

Я мотаю головой:

– Нет-нет.

И вижу в ее взгляде вопрос: «А зачем пришел тогда?».

Может, да наверняка, она так не думает, но в глазах читается именно это.

Мне делается неловко, и через несколько секунд я выхожу на улицу. Снова закуриваю сигарету. Быстро иду в Старый город.

В школе нас приучали любить и уважать историю родного края. Нам рассказывали, что город наш был основан в четвертом веке до нашей эры, входил в Боспорское царство, а до этого здесь жили какие-то меоты, синды... В тринадцатом веке городом владели гетузы, построили огромную крепость (следы ее встречаются на территории почти всего Старого города, часть стены с двумя башнями уцелела). В середине четырнадцатого века город завоевали золотоордынцы, потом он принадлежал Османской империи. В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков русские несколько раз брали город, но их выбивали. Говорят, потери с обеих сторон были огромны. В конце концов русские победили... В тысяча восемьсот пятьдесят пятом году город заняли англичане. Правда, через три месяца убрались... Во время Гражданской войны власть менялась раз десять. После каждой смены происходили казни и чистки. Красные, белые, казаки, анархисты... В сорок втором году город в очередной раз был почти стерт с лица земли, население уничтожено или бежало. Кто на восток, кто на запад...

Да, история бурная и богатая, даже и не совсем верится, что из-за этого кусочка земли погибло столько людей, столько крови в нее впиталось. Тем более что в краеведческом музее (двухэтажный домишко из нескольких комнат) практически нет доказательств того, что написано в исторических книгах. Несколько изъеденных ржавчиной сабель, пяток стеклянных

осколков, которые являются (как утверждает подпись) фрагментами итальянских бокалов; изразцы, бусинки, камни, в которых скорее угадываются, чем видятся человеческие фигурки...

Я не очень-то верю в историю. Точнее – в грандиозность происходивших в прошлом событий. Например, что наш город восемьсот лет был крупным торговым центром, портом, в котором стояли под погрузкой и разгрузкой десятки кораблей... Но что-то, конечно, было и кануло в небытие почти бесследно. Миллионы людей прожили на этих квадратных километрах свои жизни. Некоторые умерли своей смертью, многих убили. Кто-то погиб героически, кто-то наверняка был потенциальным гением, кто-то был божественно красив... Только кого запомнило человечество? Да никого. И нечего выставлять в музее... А что останется от нашего времени через тысячу лет, после парочки катастроф? Да наверняка тоже какие-нибудь обломки, осколки, мелочи...

Но вот, правда, единственная оставшаяся от прошлого немелочь: кусок стены и две башни возле самого моря. Конечно, полуразрушенные, осыпавшиеся, но все равно внушительные. И невольно представляется, как тащили сюда отесанные камни, клали один на другой при помощи разных приспособлений, рычагов. Или пленники изнуренные строили, или сами генуэзцы – крепкие, активные, весело подбадривающие друг друга, уверенные, что за этими стенами будут жить их потомки до скончания веков... В заливе на волнах покачиваются корабли со спущенными парусами, на берегу – шатры, бочки с вином и порохом.

Пять, десять, сто лет строились пояса стен и башен, дома и церкви внутри них. Росло население, богатело... И вот к стенам подходят чужие, желающие город завоевать. Происходит штурм, но он неудачен. Осада. Летят в город камни и горящие стрелы, долбят укрепления стенобитные орудия... В книгах написано, что генуэзцы держались до последнего. Наконец в стане осаждающих началась эпидемия чумы. И хан приказал метать тела умерших за стены. Лишь несколько генуэзцев уплыли на одном корабле. Завоеватели ворвались в опустевший город, набрали добра, но почти все поумирали.

Через какое-то время жизнь вернулась, и возвращалась еще не раз. Что ж, место удобное. Но крепостей уже не строили, видимо зная, что в один прекрасный момент найдутся те, кого стены не остановят. И дома стали не такие крепкие (сохранилось у нас несколько древних зданий – из каменных блоков, с узкими окнами, плоскими крышами, напоминающими могильные плиты).

И вот сейчас рядом с генуэзскими башнями налеплены хилые домишки, сараюшки, сортиры, окруженные символическими заборами. На два-три поколения рассчитаны эти постройки, не больше. Не дольше.

Здесь, рядом с башнями, мне и хорошо, и муторно. Будто нахожусь в нужном месте, но я опоздал, и нечто важное уже случилось. Не исключено, что оно произойдет снова, но когда – неизвестно. А ждать – тяжело.

Да и как ждать? Это только литературные герои могут сидеть годами и глядеть вдаль с надеждой, а живые... Вот потоптался минут десять под одной из башен, и уже стал коченеть, и в туалет захотелось, и голод почувствовал. Надо идти дальше, туда, где и зимой теплится хоть какая-то жизнь, где кафешки с туалетами, ресторан «Прибой» с Ириной, музей с Наташей. Где есть шанс встретить тех, с кем можно словом перекинуться.

И по Портовой улице я шагаю на восток, к центру города. Небольшого приморского городка, в котором живу.

Слева четырехэтажные дома. Раньше в них жили семьи моряков и портовых рабочих, а теперь непонятно кто. Справа – здание порта, железобетонные заборы, стальные ворота, большинство из которых не открывали уже много лет (даже деревца кое-где перед ними выросли). Вот показались краны. Неподвижные, с повисшими стрелами. Напоминают дремлющих жирафов. Или больных...

Порт пуст, причал – тоже.

Нет, вот перед широкими решетчатыми воротами, к которым ведут рельсы, медленно проходит человек с ружьем за спиной. Часовой... Смешно. Что он охраняет?.. Да наверняка есть что. Страшно сознавать, что ничего не осталось...

Дохожу до железнодорожного вокзала. Симпатичное здание салатового цвета; несколько путей, разъезды, стрелки, тупики... Наш город – конечная станция. Южнее на побережье – курортные поселки, санатории, профилактории, заповедник. Часть пассажиров летом с поезда сразу пересаживается на автобусы и едет туда. Там, конечно, лучше отдых, но и цены раза в три выше на все, поэтому не особо имущие, тем более с детьми, предпочитают проводить свои отпуска здесь. А что? Пляжи есть, в том числе и песчаный, загазованность невысокая, кафешек, ресторанов, аптек, магазинов полно. Квартиры дешевые, комнаты копеечные. А то, что по онкологии наш городок первый в регионе, не афишируется. Да и кто знает наверняка, что на первом? И, может, случайно так получается. Подобрались люди, предрасположенные к раку.

Но, поговаривают – тихо, между собой, – что на военной базе в шахтах стоят ракеты. Межконтинентальные, крылатые... Саму базу на восточной окраине города закрыли, а оружие осталось ржаветь, испускать радиацию.

Никто своими глазами ракет не видел, в шахты не пробирался, но упорно винят в раке базу. Скорее, чтоб найти для себя причину, – непонятность ведь хуже всего. Да и наверняка обида мучает – вот сколько лет жили рядом со стратегическим объектом, в опасности, но и с сознанием, что являются щитом Родины, и вдруг часть этого щита откололи и бросили, и люди стали не нужны. Да вдобавок должны глотать радиацию...

Не знаю, не знаю. Может, и правы они. По большому счету правы – обидно быть ненужными. Тошно от нынешней свободы.

Зимой к нам прибывает один пассажирский поезд в сутки. Зато в сезон бывает до пяти дополнительных. Площадь тогда забита палатками и лотками, везде жарят мясо, пекут пиццу, осетинские и караимские пироги. Шумно, суетливо, празднично, дни и ночи мелькают с бешеной скоростью, но кажется, что лето не кончится, всегда будет вот так – жарко, ярко, многолюдно. А потом, в середине октября, резко холодает, и город пустеет. Большая часть кафе и ресторанов закрывается, палатки, лотки, тенты убирают на склады. И создается впечатление, что часть города исчезает. Действительно, в прямом смысле. Пусть не главная часть, но все-таки именно та, ради которой к нам сюда едут туристы, поддерживают своими деньгами наше существование. Без этой части горожане впадают в спячку. Тяжелую, не прибавляющую сил.

Но есть пятачок, где жизнь теплится и сейчас: Земская площадь. Метров двести от набережной; окружена краеведческим музеем, городской картинной галереей (с полтысячи пейзажей города и его окрестностей), центральным офисом банка, гостиницей «Прибой», рядом одноименный ресторан. На площади несколько сувенирных киосков (вдруг кто из зимних гостей захочет купить раковину, или залакированного крабика, или брелок, магнитик); абхаз Насибей упорно поддерживает тлеющие угольки в своем мангале в надежде, что появятся голодные гости и скажут: «Пять!.. Нет, десять шампуров давай-ка, друг! Да вина, да помидоров, да сыра!»

Завидев местных, Насибей зазывает и их на всякий случай.

– О, дорогой! – улыбается мне. – Кушать хочешь?

– Хочу, – тоже улыбаюсь, принимая игру; этими словами мы обмениваемся каждый раз.

– Барашка, свинку, курочку?

– Угощаешь?

Насибей страдальчески ломает брови:

– Ох, да я бы с радостью. Не могу, знаешь. Но совсем мало возьму! Сто пятьдесят целый шампур. От и до! Давай?

Иногда, но редко, я соглашаюсь. Сажусь за пластиковый стол под брезентовым зонтом, надежно закрепленным веревками и камнями, и жду, наблюдая, как Насибей с любовью готовит шашлык. Курю, смотрю в сторону моря и представляю, что я где-то в другой стране. На побережье Бискайского залива или Балтийского моря; я приехал сюда зимой, чтобы отдохнуть от суеты родного города... Потом ем мясо, запивая вином или проглатываю рюмку-другую домашней Насибеевой чачи.

Сегодня я поблагодарил и отказался.

Во-первых, не стоит столоваться у Насибей слишком часто и демонстрировать, что я как-то завишу от его вкусных шашлыков (вполне может из-за этого цену поднять, да и просто свое превосходство надо мной почувствовать); во-вторых, в «Прибое» теплее, чем здесь; в-третьих, денег просто жалко, – сто пятьдесят хоть и мелочь, но если выкладывать по сто пятьдесят три раза в неделю, то в месяц получается около трех тысяч. Плюс чача, плюс помидоры, хлеб. Жирновато... А главное, с Ириной просто так не пообщаешься – надо что-нибудь заказать.

– Спасибо, Насибей, может, завтра, – говорю шашлычнику и скорей отворачиваюсь, но успеваю заметить, как оползает его улыбка...

Ресторан «Прибой» – вот он, напротив, в старинном двухэтажном доме. Залы на обоих этажах; в сезон есть открытая веранда, столики устанавливают и на балконах. Сейчас работает лишь один зальчик – ближайший к кухне.

Открываю дверь – звенькает колокольчик, – вхожу, опускаю воротник, разминаю замерзшие пальцы. Взглядом ищу Ирину. По моим подсчетам, сегодня ее дежурство...

Появляется, на ходу поправляя старомодную белую наколку на волосах (руководство ресторана почему-то считает эту деталь обязательной для официантки), отвернув лицо и потому не видя меня. Увидела, и на лице мелькнуло разочарование. Конечно, в эти секунды, когда услышала звяк колокольчика и пошла встречать посетителей, успела нафантазировать... А тут я, пресный завсегдатай. Закажу от силы на пару сотен, и главное – надоел я ей до предела, известен каждым жестом и словом. Я уверен, что она с радостью бы меня сюда не пустила, но принимать любого, обслуживать – это ее работа. За это платят деньги.

– Привет, – говорю изо всех сил душевно.

– Добрый день, проходи... – Она направляется к барной стойке за меню. – Гардероб, извини, закрыт.

– Да я на стул...

Смотрю ей вслед. Сочная нерожавшая женщина. Нельзя сказать, что до сих пор юная, хотя что-то сохранилось в ней девичье, то, что и отличает женщину от тетки... Но... Но у такой уже нет запредельных запросов, больших целей – такой подойдет тихое благополучие, сносный достаток, который обеспечивает муж. Жаль только, что она не верит, что я могу ей это дать. Поженись мы, и Ирина так же будет изнывать по три-четыре дня в неделю в этом пустом пять месяцев в году ресторане, а в остальные семь месяцев метаться с подносом от кухни до столиков, сходить с ума от обилия заказов, бояться, как бы не обсчитаться, не ошибиться в блюдах.

Ей хочется сменить работу или стать не испытывающей нужды домохозяйкой, если уж невозможно оказаться светской львицей, но никаких признаков перемены участи не ощущается. Нет, нечто витает, призрачно дразнит, намекает (как и мне), что надежда остается, и это самое обидное. Лучше бы уж полная безнадега.

Иногда из «Прибоя» Ирина идет ко мне. Очень редко. Мы занимаемся сексом. Жарко, грубовато, молча, без поцелуев и ласковых слов... Мне кажется в эти минуты, что Ирина не со мной, а с кем-то другим, и, что самое неприятное, я сам себе представляюсь не собой. Представляюсь богатым, крепко вцепившимся в жизнь мэном, которому по праву досталась такая женщина. С отличной фигурой, мягкая, гладкая, приятно пахнущая.

Потом Ирина быстро одевается. Я прошу остаться, мне хочется уснуть обнявшись с ней, чувствовать ее во сне, но она уходит. С каким-то таким видом, словно пытается понять, как она сюда попала, что это с ней... И через месяц-два-три снова оказывается у меня, снова бьется на мне и подо мной, а потом торопливо натягивает колготки, цепляет крючки лифчика, размыто оглядывая комнату...

Прошлый такой вечер был у нас около месяца назад. Скорее всего, в ближайшее время мне рассчитывать не на что.

– Пожалуйста, – Ирина подает папочку меню. – К сожалению, не всё в наличии.

Это не сюрприз – готовят зимой один какой-нибудь суп, два-три блюда на второе, трюечку салатов. Посетителей-то, мягко скажем, негусто, и если уж кто приходит, не станет кочевржиться – съест что дадут, утолит голод и пойдет дальше по своим делам.

– А что есть? – спрашиваю, глядя на Ирину. Она стоит надо мной в белой кофточке, в черной юбке, прикрытой спереди кружевным передником. На лице аккуратная косметика, запястья голые, розоватые, даже на вид мягкие и нежные. Вообще вся она аккуратная – во-первых, работа такая, а во-вторых, всегда готова понравиться подходящему человеку. Человеку, который выдернет отсюда в лучшее.

После школы Ирина уехала, училась где-то, работала, даже вроде замужем побывала (подробно о прошлом я ее расспрашивать опасаюсь, догадываясь, что счастья там особого не случилось), а года три назад вернулась сюда. Домой. На родину.

– Салаты «Витамин» и «Столичный». На первое – солянка, – без раздражения перечисляет она. – На второе есть котлеты «Домашние», куриные грудки под сыром, пельмени... Сок, кофе, чай в ассортименте.

– Отлично! – улыбаюсь. – Значит, солянку, пельмени и сто граммов водки... попроще.

Ирина не записывает – такой набор нетрудно запомнить. Уточняет:

– «Медофф» подойдет?

– Само то.

– Пельмени с чем? Майонез? Масло? Сметана?

– Сметана.

– Хлеб?

– Пару кусочков черного.

– Хорошо. – Она идет на кухню.

Достаю из кармана пальто сигареты. Некоторое время кручу пачку пальцами. Потом вынимаю сигарету, вставляю в рот. Вспоминаю, что зажигалку не достал. Нахожу. Закуриваю. Замечаю, что волнуясь, и назло волнению разваливаюсь на стуле, с силой пускаю дым вверх, к потолку. С ленцой (надеюсь, со стороны это выглядит именно так) оглядываю зал.

Громоздкая мебель, тяжелые портьеры. Кондиционеры спрятать, плазму со стены снять – и можно снимать фильм про советское время. Но туристам нравится – летом здесь вечно битком. Как-то солидно по сравнению с фастфудом и пиццериями, цены терпимые, вентиляция... А сейчас пусто, холодновато, уныло, даже едой не пахнет, хотя кухня за дверью. Впрочем, если себе внушить, именно сейчас можно ощутить себя королем жизни. В кармане пять тысяч (на всякий случай всегда держу при себе часть сбережений). Наказывать всего самого дорогого, наобещать Ирине золотые горы – наврать, что наследство, например, получил и готов уехать с ней в Питер, где, дескать, умершая тетка мне квартиру оставила. Оторваться по полной, гульнуть с Ириной (она сразу, услышав, что я стал другим, в меня влюбляется) не в этом осточертевшем обоим «Прибое», а в другом каком-нибудь месте. Потом страстная ночь в снятом номере гостиницы, завтрак в постели... А дальше? К сожалению, жизнь продолжится, и впереди – много-много дней. Тысячи дней, каждый из которых нужно переживать.

– Пожалуйста. – Ирина ставит передо мной большую тарелку с солянкой, хлеб, графинчик и рюмку. – Пельмени варятся.

– Спасибо. – Тушу окуроч в стеклянной пепельнице с надписью “Marlboro”. – Посидишь со мной?

Посетителей, кроме меня, никого, и Ирина присаживается напротив. Поднос кладет на соседний стол.

– Все ходишь? – спрашивает с сочувствующей, но и, кажется, снисходительной полуулыбкой.

– Да, хожу... А что еще делать... Вариантов немного...

Вообще-то говорить не о чем. О прошлом, что нужно, мы сказали и рассказали друг другу уже давно, что не нужно – не скажем никогда. Канва нынешней жизни нам тоже известна подробно. Конечно, какие-то детали мы друг от друга утаиваем (Ирина, скорее всего, ничего не знает о Наташе, точнее, о моих визитах к ней, а я не знаю, есть ли у нее секс с кем-то помимо меня), но если я прихожу в «Прибой» и меня встречает Ирина в своей форме официантки, значит, никаких существенных событий ни с ней, ни со мной не произошло.

– А у тебя какие планы? – задаю ответный вопрос. – Свободна вечером?

Ирина пожимает круглыми, налитыми плечами:

– Сегодня футбол. Должен собраться кто-нибудь. У нас бокал пива бесплатно. А потом... – она делает паузу, словно бы определяя, необходима ли ей уже близость с мужчиной или можно еще потерпеть. – Закончится поздно, одна мысль будет, как до кровати дошлепать.

Я покачиваю головой. Вожу ложкой в тарелке. Есть сейчас как-то неловко. Пошло, что ли... Не нахожу ничего лучше, чем ляпнуть:

– Что за футбол-то?

– «Арсенал» – «Барселона». Лига чемпионов.

– М-м! На это должны прийти. Команды знаменитые. Месси, Аршавин...

Губы Ирины снова потянулись в неопределенной полуулыбке. Она кивает на тарелку:

– Ешь. А то остынет. – Поднимается. – Сейчас пельмени принесу.

Я выпил рюмку водки. Похлебал солянку. Колбасы и мяса не в обиду. Сытная. Но, кажется, не совсем свежая. Или маслин слишком много... Искал, искал, что бы сказать Ирине новенького, такого, чтоб она засмеялась, оживилась хотя бы. Снова мелькнула мысль (ненавязчивая, честно признаться) наврать, что я разбогател... Хмыкнув, отогнал ее, еще закинул в себя несколько ложек.

Вернулась Ирина с пельменями. Поставила тарелку по левую руку от меня, но не рядом, чтоб не мешала.

– Ир, – сказал я, чувствуя, что она сейчас пойдет к барной стойке.

– Да? – бесцветный отклик.

«Я люблю тебя... Не могу без тебя жить... Давай поженимся... Давай я продам квартиру, и уедем», – прощелкали в мозгу фразы, и ни одну из них я не смог произнести вслух. Не потому, что не решался, а просто... Просто знал, какой будет реакция. Эта ее полуулыбка, но уже не странная, а однозначно насмешливая. Которая вполне может стать знаком: та ниточка, что связывала нас, рвется навсегда... В какой-то песне есть слова: «Женщины, которых, как реки, не повернуть вспять». Когда женщина по-настоящему начинает тебя презирать, ее расположение ничем уже не вернешь. Лучше уж пусть остается как есть. Несколько раз в неделю буду приходить сюда и обедать, раз в месяц-два Ирина будет оказываться на час-другой в моей квартире...

– Ир, – говорю вслух. – Я сегодня приду на футбол. Можно?

И она невесело, но без всяких полутонов улыбается. Это действительно улыбка.

– Да конечно! Буду рада.

Я наливаю еще водки и глотаю. Закусываю вываленными в сметане пельменями...

Пельмени здесь хорошие, с натуральным фаршем.

– Буду болеть за «Арсенал», – говорю. – А ты?

– Мне «Барселона» всегда симпатичней.

– А в «Арсенале» Ван Перси. Он уж симпатичней всей «Барселоны». С точки зрения женщин, конечно. Ты не подумай, – стараюсь ее развеселить.

– Да ну, он слащавый какой-то. Месси – вот настоящий парень.

Шутливо соглашаюсь:

– Ну да. Месси вне конкуренции... Зато в «Арсенале» наш – Аршавин.

– Ай, – морщит нос Ирина, – да какой он наш? Наши дома играют.

– Ага, в «Кристалле»!

И мы с ней смеемся вполне искренне... Наш «Кристалл» всю жизнь пробивается во вторую лигу. Играют за него сорокалетние мужики, больше похожие на участников боев без правил, чем на футболистов...

Расстаемся в приподнятом настроении. Я расплатился (положил в папочку две сотни, хотя счет был на сто семьдесят два), надел куртку и вышел.

Выпитые сто грамм под хорошую закуску почти не чувствовались. Точнее, опьянения нет, зато возродилась энергия для дальнейшего похода по городу... Даже не так... Утром меня выбросила из дому тоска, а теперь появилось желание просто гулять, разглядывать знакомые здания, деревья, вывески, ворота, окна. Я словно бы хозяин, проверяющий сохранность своих владений... Теперь я готов многословно, эмоционально говорить с Натальей хоть о поэзии, хоть о чем...

И я уверенно шагаю к тому музею, где она работает.

Раньше, помню по детству, у нас был один музей – краеведческий, да и тот со скудными экспонатами. Ценные находки увозили в столицу, что-то в Эрмитаж, а у нас оставалось ненужное... А с начала девяностых музеи стали появляться как грибы (или что там появляется словно бы ниоткуда). Музей денег открылся, музей моря, музей камня, музей игрушки, музей вина... Правда, музеями эти заведения сложно назвать, – скорее уж магазины, замаскированные под музеи. В музее денег, например, есть стендик с несколькими старинными монетами и редкими банкнотами, а прочее – товар. Так же и с остальными.

Но года четыре назад открылся действительно музей, хотя тоже почти без экспонатов. Его открытия добивались долго и трудно, с митингами и обращениями к мэру, губернатору, министру культуры... Дело в том, что в нашем городе в конце позапрошлого – начале прошлого века жила одна художница. Наташа всегда уважительно, с благоговением называет ее по имени-отчеству – Мария Григорьевна.

В общем, жила в нашем городе художница Мария Григорьевна, была знакома с кучей известных людей, считала себя ученицей Айвазовского, навещала Льва Толстого, когда тот лечился в Крыму. Но в общем жила незаметно в своем одноэтажном каменном доме на улице Десантников (как раньше называлась, не знаю), писала картины. Весной двадцатого года, когда к городу подходила Красная армия и уже никто не верил, что ее остановят и победят, собрала свои холстики и села на пароход. Жила в Болгарии, во Франции, умерла в США в глубокой старости.

Картины Марии Григорьевны есть во многих европейских и американских музеях (в основном в запасниках), а у нас почти ничего не осталось. Это и было одной из причин, почему музей долго не организовывали (вторая существенная – в ее доме находилось государственное учреждение). В конце концов городская интеллигенция убедила, что главное – не экспонаты, а знак, что человека помнят, сделанное ею – ценят.

И теперь в четырех комнатах (залах) несколько рисунков Марии Григорьевны и два этюда маслом. А остальное – копии фотографий, писем, предметы старины (швейная машинка, керосиновая лампа, бюро, веер), морская галька...

Наташа – младший научный сотрудник, проводит экскурсии. По сути, ее экскурсии и являются главным, без них мало что можно понять, почти ничего не увидишь... Наташа рассказывает подробно, увлеченно, с душой и заражает этим сонных, вялых туристов. Часто я присоединяюсь к маленьким группам (большие в музейчике попросту не поместятся) и слушаю.

«Мария Григорьевна в юности была очень привлекательна. Все, кто был знаком с ней в то время, сходятся в этом, – журчит в ушах Наташин голосок, словно я уже пришел в музей и занял место среди экскурсантов. – У нас есть копия фотографии, сделанной в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. – Наташа показывает указкой на мутно-серое пятно под стеклом, где практически ничего не разобрать. – На ней Марии Григорьевне восемнадцать лет. Фотография сделана в Ростове, во время учебы Марии Григорьевны в рисовальных классах...»

Когда Наташа с придыханием произносит «Ростов», «Москва», «Петербург», вспыхивают внутри неясные, но яркие картинки. И я пытаюсь что-то разглядеть. Но неизменно оказывается, что это просто яркость, как свет сварки, который лишь слепит... В Ростов я ездил, но не обнаружил там ничего интересного, а Москва и Петербург для меня такие же мифические места, как, к примеру, Рим, Нью-Йорк, Париж, Бильбао... Да и Наташа в Москве и Питере не бывала. Самое дальнее – в Волгограде.

«В девятнадцать лет Мария Григорьевна полюбила. – «Полюбила», Наташа всегда говорит так, что становится ясно, что полюбить – это чудо, и хочется одновременно и заскулить слезливо оттого, что сам до сих пор не полюбил, и как-нибудь погано захохотать. – Она полюбила молодого корнета Петра Сергеевича Лопушинского. Они познакомились в Феодосии, в доме Айвазовского. Их обоих, как много позднее вспоминала сама Мария Григорьевна, одновременно пронзили стрелы Амура. С самой первой встречи они не расставались, а вскоре были помолвлены. Мечтали о свадьбе. Но Петра Сергеевича отправили в Туркестанский край, где он героически погиб в бою под Кушкой восемнадцатого марта тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. И всю оставшуюся жизнь, почти шестьдесят лет, Мария Григорьевна хранила светлую память о своем женихе».

И мне, да судя по всему, и остальным слушающим в эти моменты кажется, что Мария Григорьевна необыкновенная, чуть ли не святая женщина, что у нее (вот именно у нее) – трагическая судьба. И нужно что-то сделать, как-то помочь, исправить или, по крайней мере, больше узнать о ней.

Мне нравятся Наташины экскурсии и мои чувства, которые возникают во время них; во время этих экскурсий я люблю маленькую костлявую Наташу, люблю, наверное, именно так, как неведомый (даже фотки не сохранилось) корнет Петр Сергеевич Лопушинский любил Марию Григорьевну... К сожалению, экскурсии заканчиваются, и нужно возвращаться в реальность, где любовь, скорей всего, хоть и возможна, но придавлена горами проблем. Вряд ли сегодня можно побежать по мелким камушкам, держась за руки и действительно счастливо смеясь, ни о чем больше не думая, кроме любви, как, если верить Наташе, делали Мария Григорьевна с Петром Сергеевичем. Да нет, и они вряд ли были абсолютно счастливы, но, слушая Наташу, становишься уверенным, что да, были.

И вот сейчас, подзарядившись общением с Ириной, вкусным обедом и водкой, я спешу в музей. Надеюсь, что кто-нибудь придет посмотреть экспозицию и я пристроюсь, послушаю, наполнюсь сладостью, испытаю прилив возвышенности. Пусть даже очень быстро произойдет отлив, а сладость превратится в едкую горечь... А если посетителей не будет, то просто посижу рядом с Наташей. Это тоже помогает.

Поднимаюсь по ступеням крыльца, открываю тяжелую скрипучую дверь. Озябшее лицо сразу хватается мягкими лапками теплый воздух, и хочется жмуриться, улыбаться.

Из кабинетика справа выскакивает Ольга Борисовна. Директор. На лице – надежда и волнение. Но увидела, что это всего лишь я, и надежду с волнением стерла досада. Ну почти как с Ириной получается встреча.

– А, добрый день, – говорит Ольга Борисовна, делая лицо спокойно-приветливым.

– Здравствуйте, – отвечаю, тоже стараясь быть спокойным и приветливым. – Как ваши дела?

– Да как они могут быть, – привычно-автоматически вздыхает директриса, и тут же что-то вспоминает, и голос ее становится по-настоящему скорбным. – Да нет, еще хуже – Наташенька отравилась. Второй день лежит.

– Где лежит? – За мгновение я успеваю нафантазировать, что Наташа отравилась таблетками и сейчас в морге.

– Дома. Рвота, температура, – говорит Ольга Борисовна. – Мама ее заходила утром, сообщила вот... Спрашивала, надо ли бюллетень оформлять. Да ладно, говорю, сейчас такой период, что все равно, работает музей, не работает. За неделю – ни одного посетителя. Даже адресом никто не ошибся...

Чувствую некоторое вроде даже разочарование, что у Наташи отравление случайное, и с удивлением понимаю: для меня не стало бы неожиданностью, если бы оно было намеренным.

– И не знает, говорит, на что грешить, – продолжается скорбный бормоток Ольги Борисовны, – все продукты такие стали, что... Контрафакт сплошной.

«А раньше никаких не было», – хочется ответить, но я лишь молча, сочувствующе киваю; спорить как-то глупо.

– Чайку попьете? – предлагает директриса. – У меня печенье есть. Посидим. Устала одна. Соглашаюсь. Что ж, все равно делать нечего.

Сидим в маленькой комнате. Раньше это была, наверное, каморка швейцара (или сторожа), а теперь – дирекция. Шкаф с папками, два стола. Ольги Борисовны и Наташи. На директорском – компьютер. На экране застыли карты. Игра «Косынка» или что-нибудь типа...

В девяностые Ольга Борисовна была известнейшим (да и по существу, единственным) искусствоведем нашего города. Писала статьи в местную газету, боролась за памятники старины, устраивала выставки и творческие вечера, добивалась открытия этого вот музея. Но, когда музей открыли, ее активность резко снизилась. Теперь она целыми днями сидит за столом, ждет посетителей, играет в безобидные компьютерные игры. Статей ее я давно не встречаю, выставок и вечеров почти не бывает. Судя по всему, получила она то, что хотела, и успокоилась. Или перегорела.

Щелкнул, вскипев, чайник. Ольга Борисовна наполняет две чашки, закрашивает пакетиком «Липтона» воду сначала в моей, потом в своей. Отжимает пакетик при помощи ложки, бросает в урну.

– Кладите сахар. Печенье вот.

– Спасибо.

Я замечаю городскую газету. Свежий номер.

– Можно глянуть?

Ольга Борисовна удивляется:

– Конечно! Что вы спрашиваете, как чужой...

Приятные слова.

Попиваю чай, листаю газету. На первых страницах разная пустая информация, интервью с первым заместителем мэра под названием «Работаем в штатном режиме». Еще новости: где-то трубу прорвало, у какого-то долгожителя случился очередной юбилей, кто-то из наших на региональной олимпиаде по физике занял второе место... Страница здоровья, страница с кроссвордом и анекдотами, некрологи и поздравления... Разворот объявлений. «Продаю», «куплю», «обмен», «ищу работу», «вакансии»... Выхватываю взглядом: «Бармен, кас-

сир, посудомойка, официанты с 1.04», «Официантки в летний ресторан. Отбор соискательниц с 15.03», «Семья досмотрит пожилого человека за жилплощадь, порядочность гарантируем», «Напишу поздравления, адреса к памятным датам, юбилеям в стихах, быстро, профессионально», «Требуется менеджеры по рекламе»...

Кладу обратно.

– Да, – тут же вздыхает Ольга Борисовна, – читать совсем нечего... Кстати, слышали, – переходит она на жаркий полусшепот, каким обычно делятся слухами, – в Ейске на стадионе изображение Богородицы обнаружили!

– В каком смысле изображение?

– Да в прямом. Мне фотографии показали... Может, конечно, монтаж опять, но... не знаю... В общем, летчики над городом пролетали и заметили. На стадионе, прямо на поле футбольном, – лицо, фигура... Как это сделано?.. Если правда, то... – Ольга Борисовна замялась, кашлянула, всячески показывая, что не хочет верить, но факты сильнее веры – не веры. – Понимаете, если не монтаж никакой, то – чудо. Ведь бывает же... Иконы плачут, мироточат...

Поеживаюсь. Как-то действительно страшновато сидеть в тесной комнатке вместе с женщиной, которая начинает нести бред...

Кошусь на часы. Около четырех. Допиваю чай.

– Спасибо, – готовлюсь подняться, – очень вкусно.

– Да посидите, – просит Ольга Борисовна. – Куда спешить...

– Надо еще... – на ходу придумываю, – магнитофон надо из ремонта забрать. Что-то там... Кассета не крутится.

– Жалко-жалко. Поговорили бы.

– Я зайду завтра. Или послезавтра. – Встаю. – А сейчас надо...

Директриса просительно смотрит мне в глаза. Смотрит снизу, и от этого взгляд особенно беззащитный. Спрашивает:

– Как думаете, правда это?

– Что, изображение?

– Да.

Пожимаю плечами:

– Не знаю. Не видел же... Надо увидеть.

– Я попросила сделать копии. Принесу... Ведь если правда, то это к чему-то. Перед испытаниями, перед бедами всякими такое обычно... Много примеров.

– Ну, может, наоборот, – пытаюсь успокоить, кажется, действительно слетевшую с нарезки директрису (никогда не замечал за ней тяги к мистике, и вдруг такое). – Может, хорошее что-то грядет.

– Правда?.. Хоть бы, хоть бы... Нет сил больше в этой пустоте находиться... У Виктора Пелевина книга вышла недавно... Глупая книга, пустая, но мысль точная есть: это эпоха, в которую ни мира, ни войны. Непонятность такая. Тревога и пустота. Лучше бы уж, думаю... Нет, не надо!

Она стала входить в спор с самой собой. На лице ежесекундно менялось выражение, изо рта вылетали междометия, бессвязные реплики. И я, бормотнув «до свидания», скорей вышел на улицу. Сбежал с крыльца.

Направляюсь к набережной. Нужно побыть рядом с морем...

Нет, на самом-то деле я понимаю Ольгу Борисовну. Очень хорошо понимаю. Поэтому и испугался. Зайтись в разговоре, начать безудержно выплескивать тоску и томление кажется мне опасным, губительным – можно в них захлебнуться.

Но отчего эти почти непереносимые, сводящие с ума тоска, томление, вечное ожидание худшего?.. Да, пусто в городе, да, скучно, да, зимой мы словно не на обочине даже, а где-то в кювете большой жизни, но вряд ли дело только в этом. Вряд ли...

По привычке двигаюсь к морю кратчайшей дорогой и оказываюсь опять на площади, где торчит Насибей.

– Во! Решился?! – Он хватает картонку и машет ею, раздувая угли. – Дава-ай, дорогой, я быстренько!..

Меня словно током шарахает бешенство, самое злое бешенство – смешанное с жалостью.

– Н... нет! – выкрикиваю. – Не хочу!

Поворачиваю налево, прыгаю по ступеням лестницы... Берег. По хрустящей гальке шагаю на север, к укромному месту, которое называют Камушки. Это участок у самого моря, шириной метров двести, заваленный валунами. То ли природные они, а скорей всего, привезенные когда-то для строительства набережной... Валуны разделяют галечный пляж и песчаный. Из щелей торчат ивы.

На Камушках я выпил свое первое вино, первый раз целовался. Там люблю посидеть в одиночестве, глядя вдаль, на горизонт, отключиться от ежеминутно теребящих мыслей.

На берегу холоднее, чем в городе. Под одежду лезет едкий не то чтобы ветер, а... Какое-то колебание воздуха, в общем. Море шевелится, но лениво, измученно. Вода темно-синяя, густая, как автомобильное масло. Кое-где плавают пористые, похожие на обломки грязного пенопласта льдины. Галька обледенелая, хруст ее противный, раздражающий. Пахнет холодной гнилью водорослей...

Летом здесь стоят надувные горки, работает прокат катамаранов, отдыхающих катают на водных мотоциклах, на бананах, тарелочках. Меж лежащими на ковриках и шезлонгах ходят продавцы пива, кукурузы, шашлыков из рапанов, мидий. Кричат: «Холодное пиво, горячая кукуруза!». Загорающие реагируют очень редко. Но однажды, видел, какой-то парень в жару стал выкрикивать: «Холодная кукуруза! Холодная кукуруза!» – и люди оживились, стали спрашивать, что стоит, покупали. Креатив.

М-да, кукуруза, кукуруза, ты тренируешь мышцы пуза...

На песчаном пляже я в сезон подрабатываю – протираю шезлонги. Нас шесть человек парней, дежури́м по двое по полдня. Руководит нами старуха Нина Викторовна. Сидит под зонтиком, у нее толстенная тетрадь с номерами лежаков. Целая таблица там, какие сданы и насколько, какие свободны... Записывает, зачеркивает, отмечает...

Работа у нас с парнями несложная: к восьми утра приносим со склада и расставляем на отведенном пространстве шезлонги, а потом по приказу Нины Викторовны протираем тряпочкой тот или другой, смахиваем песочек. Конечно, наблюдаем, чтоб кто на халяву не разлегся, не начал ломать, банально не спёр... Но все-таки утомительно по пять-шесть часов в день вот так торчать. Да и как-то... как-то стыдно, что ли. Не семнадцать лет, не двадцать...

А что будет через пять лет, когда мне стукнет сорок, через десять – думать страшно. Противно, точнее. Наверняка после сорока уже всерьез начнешь чувствовать, что старость недалеко. Пусть не старость, но уж точно молодость навсегда останется позади. Умрет... А каково женщинам... Ирине... «Я здесь старею»... Да, именно.

Вот и Камушки. Тот валун с плоским верхом, на котором я обычно сижу, прислонившись спиной к толстому стволу ивы... И кусок доски сохранился, который я подкладываю под зад.

Устраиваюсь, нахохливаюсь, стараюсь не пускать холод под одежду. Закурываю. Смотрю на линию горизонта.

Там пусто. Ни кораблей, ни тем более паруса. Оранжевые буйки, ограничивающие территорию купания, на зиму сняты. Тихо, даже чайки куда-то делись... А чего им летать над таким

морем? Впечатление, что в нем ничего живого. Действительно, как миллионы тонн автомобильного масла. Залили в эту огромную чашу и оставили. А мы верим, что это море.

С усилием вспоминаю лето, когда вода прозрачна, мягка. В ней плавают рыбки, иногда попадаются крошечные крабы, висят между поверхностью и дном беловатые сгустки – медузы. Обломки ракушек шторм приносит... Что еще?.. Что еще?.. Там, дальше от берега, говорят, много чего водится, даже дельфины и акулы, но я не видел.

На набережной в сезон появляется длиннющий, километра в три, ряд палаток, набитых морскими дарами. Звезды, засушенные колючие рыбы, огромные розовые раковины... Туристы скупают все это на память. Но я знаю, что это дары не нашего моря, в лучшем случае не того, что находится рядом с городом. Рыб, раковины, звезды привозят из Турции и Египта. Да и почти все остальное – шкатулки в виде пиратских сундуков, сумки, чашки, майки – тоже оттуда. Где-то какие-то турки и египтяне их делают, делают, упаковывают в коробки и отправляют сюда. Наши девушки, парни, тетки, дядьки с апреля по октябрь стараются как можно больше продать, чтобы с ноября по март, забившись в квартиры и домишки, переждать зиму. А потом новый теплый отрезок года, который неизбежно сменится новой зимой. Пустой, долгой, лишней.

Да, нечего делать. Ни мне, ни Ирине, ни Ольге Борисовне. Ни Насибее. Ни еще несколькими десяткам тысяч людей в радиусе нескольких километров. Конечно, наверняка где-то сейчас проходят какие-то совещания и заседания по различным проблемам; у мэра, скорее всего, каждый день расписан, еще у сотенки тоже плотный график. А остальные?.. Да и у этих вряд ли. Может быть, дремлют в креслах. Тяжело, вынужденно дремлют, стараясь ускорить течение времени. Во сне время быстрее течет...

Я всячески, изо всех сил хочу настроить мысли на светлую волну. Я заставляю себя радоваться, что живу так, а не по-другому. Ведь раньше было хуже. Прошлым поколениям. Ни за что отправляли в ГУЛАГ, заставляли по шестнадцать часов лес валить, рыть каналы, камни перетаскивать с места на место. В войну работали на износ, после войны, когда Америку догоняли... А потом, в эти брежневские времена, при Андропове, Черненко (смутно, но помню их), гонялись за тунеядцами, принуждали трудиться, платили зарплату вроде терпимую, но которую не на что было тратить, если ходить по государственным магазинам. Ковры, хрусталь по талонам каким-то, очереди на годы; на машины – тем более; еды в продуктовых было так жидко, что туда не особо и заглядывали. За рисом с макаронами разве что. Покупали всё на рынке втридорога, начиная с овощей и кончая осетриной. Плевались, называли продавцов хапугами, но покупали. Так же, плюясь, шли в столовые, потому что только там можно было гречку поесть... Хм, диетическое меню...

Вроде бы невесело было, унинительно. Радости воспоминания из детства у меня не рождают... Нет, было, конечно, много солнца, сладкая вата, молодые родители, бодряя музыка из громкоговорителей... Но у любого из детства можно выудить нечто хорошее. Даже самый забытый ребенок испытывал мгновения счастья... Но что там было, объективно? Теснота бабушкиной хибары, трясущийся холодильник, в котором редко когда были заполнены все полочки и ячейки; нудные уроки, неинтересные кружки, в которые мама заставляла меня ходить, а я не хотел... Но все же люди были живыми и какими-то... В общем, радовались жизни. Знали не то чтобы смысл ее, а свое в ней место. На работу родители шли, конечно, не с песнями, но уж точно с желанием. По вечерам обсуждали рабочий день, иногда расстраивались, что план под угрозой срыва, радовались грамотам, гордились каким-то Потылицыным (до сих пор торчит эта фамилия в мозгу), который получил однажды медальку «Победитель соцсоревнования» в восемьдесят каком-то году...

Папа очень переживал за свою фабрику, особенно когда по всей стране начались перемены. Боролся за что-то и против чего-то... Может, из-за нервов и заболел, и умер. Умерла и фабрика (железобетонные стены торчат на окраине до сих пор, все железо давно вывезли), и

ничего – страна не рухнула. Наоборот, как я узнал из телевизора и газет, это пошло городу во благо, так как фабрика последние два десятилетия работала в убыток, высасывала бюджетные деньги. Вообще, дескать, промышленность в нашем регионе нецелесообразна и неуместна и надо развивать санаторно-курортную инфраструктуру. Но что-то она не шибко развивается: две гостиницы и три санатория и в сезон стоят полупустые. Приезжие предпочитают снимать квартиры и комнаты; для них самое важное – море. Те, кому важна инфраструктура, едут в Египты и Турции. Там, говорят, все давно почти идеально.

Пытаюсь думать о лете, представить, как здесь будет. Десятки девушек, стройных, гладких девушек в крошечных купальниках... Как я знакомлюсь с одной из них, или другой, или двадцать пятой, иду с ней вечером в парк, угощаю мороженым, вином, катаю на американских горках, а потом приглашаю к себе... Да, до ломоты в скулах хочу представить это, увидеть мысленным взглядом, а вместо этого в голову лезет липкая жуть... Позапрошлой зимой стал свидетелем такого...

Сидел так же, на этом же месте, и увидел – на песчаный пляж пришел человек. Потоптался у самой воды, стал раздеваться. Куртка, шапочка, свитер, ботинки, штаны, футболка... Я наблюдал за ним без любопытства, вполглаза – моржей у нас хоть и немного, но изредка купаются зимой... Мужчина забрел в воду по пояс, помахал руками и поплыл. Море было спокойным, я долго видел его все уменьшающуюся и уменьшающуюся голову. Потом перестал различать. Посидел еще минут десять, стал беспокоиться. Столько времени и суперморж в воде чуть за плюс пробыть бы не смог.

Помню, поднялся, смотрел туда, куда уплыл человек. Никого не увидел. Лишь вялое колыхание воды.

Покурил. Подошел к горке одежды. Постоял над ней, огляделся. Трогать опасался: вдруг разводка – трону, и тут же выскочат из-за веранды летней кафешки: «А, вор! Попался, сука!» И предложат: или плати, или потащим в отделение.

Так и ушел. Никуда не заявил. Заявлю, и начнут муржить допросами, путать, к каждому пустяку придираются. Менты тоже скучают и от скуки за любую мелочь цепляются. Часто устраивают облавы на автобусных зайцев, и не для того, чтоб какой-то свой план выполнить, а чтобы с тоски не чокнуться, друг друга не перестрелять...

В первое время я был уверен, что мужчина хотел искупаться, не рассчитал силы и утонул, а потом вспомнил, что он пришел без сумки или пакета, в котором бы лежало полотенце, да и вообще не был похож на моржа... Но и для самоубийства способ довольно экстравагантный. Хотя как знать – я зимой не купался. Ни разу... Пока еще не купался ни разу...

Черт, на хрен такие мысли! Можно додуматься...

Вскакиваю, иду к лестнице. Надо домой. Темнеет... Разденусь, душ приму, упаду в кресло, включу телевизор. Нагулялся.

И сейчас я уверен, что действительно нагулялся. Надолго. По меньшей мере неделю не выйду из квартиры. Разве что в ближайший магазин за пельменями и хлебом. Буду сидеть и смотреть телевизор. Тупо наблюдать за движущимися картинками... Или видик снова подключу, пересмотрю кассеты с кровавыми боевиками и ужасами, которые любил в двадцать лет...

Почти бегу через парк. С ненавистью кошусь на замершие аттракционы. Важные части сняты до весны, остались лишь каркасы. Да и за ними присматривает охранник. Специальный вагончик у него. Сидит, пялится в окно, пьет чаек, иногда обходит территорию. При деле... Столько на эти аттракционы потрачено денег, а результат... Одна из двадцати девчонок, весело проводящих со мной вечера, не отказывающихся от предложений покататься, съесть вкусное, выпить, шла потом ко мне. Остальные девятнадцать предпочитали сваливать. Извинялись, обе-

щали встретиться завтра, целовали в щеку и – топ-топ к себе на съемные хатки, в номера санаториев, к бабушкам, к родне...

А скоро и этой одной из двадцати не будет. Может, одна из пятидесяти или из ста... Пока я еще похож на парня (тридцать шесть мне не дать, разве что волосы над ушами слегка седоватые, но когда стригусь коротко – незаметно), но это не вечно же... Кому нужен стареющий самец? Сорокаслишнимлетний... В лучшем случае такой же стареющей, с обвалившейся грудью и рухнувшим задом. Секс полустариков. Щелканье суставов, хлюпанье морщинистого члена в разношенной дырке...

Всё, всё, всё – хватит об этом! Никто мне не нужен на самом-то деле. А с инстинктами вполне можно бороться, подавлять. Увлечусь чем-нибудь... Наталья борется; она наверняка не думает каждую минуту о мужиках, о том, что замуж пора. Читает стихи, плачет над ними очищающими душу слезами, рассматривает альбомы, и репродукции заменяют ей гулянье по Эрмитажу и Третьяковке... Я вот подумал, что она отравилась. Наглotalась таблеток, чтоб умереть. Нет, она неспособна. Она знает, что должна жить, дальше тянуть светлую ниточку, держась за которую другие могут выйти на свет из этой многолетней тьмы. Дотерпеть до настоящей весны. Поторопить приближение весны.

Да? И что ее ждет, Наташу, сегодня хрупкую, возвышенную девушку (совсем девочку на вид)? Что с ней будет через десять лет, через двадцать, если она так же будет тянуть эту нить, а весна все не наступит? Станет Ольгой Борисовной, а может, превратится в карикатуру на себя саму... Смешно быть восторженной и нежной душой в сорок пять лет... А весны для Наташи не наступит, никто за ее светлую ниточку не схватится. Так и будут заходить в ее музейчик вялые, изнывающие от жары и пота туристы в сезон, а в несезон она будет пить чай и сгорать со скуки... Потому и счастливо улыбается мне при встрече, возится со мной, дает книги, спорит о поэзии. Других нет, больше никого нет... И в «Прибой» на Лигу чемпионов сегодня никто не придет. Дома посмотрят. И бокал халявного пива не вытащит... Ирина будет стоять и ждать, а никто не придет... Будет ждать уже не принца, не капитана Грея, который увидит ее и увезет в большой мир; нет, будет ждать эту гопоту, которая, проглотив пол-литра халявного пива, захочет еще. И купит. И завтра хозяевам можно будет похвалиться: выручка за прошлый день – восемь тысяч!.. С учетом и моих двухсот... Нет, никто не придет, мои крохи будут единственным доходом... И я не приду на футбол. И во втором часу ночи Ирина посеменит на своих каблуках, со своими бритыми подмышками и лобком, эпилированными ногами домой. Упадет на кровать. Свернется калачиком, сожмется, заночует... Одна, одна...

Влетаю во двор, нащупываю в кармане ключи.

А по двору плывет красивый распев местного сатаниста.

– ...Утоли все горести наши да печали, вседержитель ты наш, спасите-ель...

Он стоит на балконе третьего этажа, голый по пояс. Руки раскинуты, голова задрана к темно-серому небу. Из рта при каждом слове вылетает столбик пара.

– ...Дорогой черной идем, в церквах черных молитвы воздаем, души и плоть тебе отдаем...

Взял бы да прыгнул вниз. Но ведь не разобьется. Третий этаж всего. Газон. Но, может, ногу сломает. Заорет от боли, и боль сотрет все остальное.

– ...В почете да славе живет, всю благодать твою на себя соберёт-от...

Ко мне сбегаются кошки, а я, словно это крупные хищники, которые сейчас растерзают, растащат по куску в свои укрытия, бросаюсь от них. Тыкаю магнитиком в кружок возле двери. Писк. Открываю, врываюсь в подъезд, лезу по лестнице... Запереться, включить телевизор, влипнуть в кресло.

И отлипнуть, когда все кончится.

Барби

Собираясь в пятый класс, дочка заявила, что детство кончилось и нужно отдать игрушки другим.

– Настя, – жена чуть не заплакала, – детство не кончилось, что ты говоришь... Но ты права, с большей частью игрушек пора попрощаться.

Еще четыре года назад, перед первым классом, Дробов с женой попытались избавить дочкину комнату хотя бы от части этих рваных зайцев, пыльных мишек, кукол без ног и прочего детского хлама, но тогда Настя отбраковала всего три-четыре вещи, а остальное сложила обратно: «Я не могу без них! Мне без них будет страшно!» И вот теперь сама...

Дробов обрадовался, хотя посчитал нужным сказать:

– Ты подумай до завтра, и завтра соберем. Я куплю специальный пакет и унесу маленьким детям.

На другой день, возвращаясь с работы, он купил в магазине подарков большой, пестрый, плотный пакет. Семьдесят рублей отдал. Но не в черный же мешок загружать – пусть у дочки останется доброе воспоминание...

После ужина втроем сидели на полу перед горкой игрушек.

Одни, Дробов помнил, подарили Насте они с женой, другие – гости или в садике на день рождения, на Новый год; что-то покупали в «Макдоналдсе» и «Ростиксе» – эти детские наборы, но большая часть непонятно откуда взялась. Даже на вид – старые, прошлых десятилетий, игрушки. Наверное, так же достались они Насте, как вскоре многое из этой горки достанется другим, нынешним трехлетним, пятилетним, чтобы еще через пять-семь лет переключиться к следующим.

– Насть, – жена покрутила какого-то исцарапанного супермена без руки, – его никому не надо отдавать. Он совсем старенький.

– Зато очень сильный, всех побеждает, – объяснила Настя.

Но всмотрелась в супермена, и в глазах появилось что-то взрослое, очень взрослое, испугавшее Дробова. Такой взгляд у завсегдатаек торговых центров. Дескать, мы знаем на всё настоящую цену, чем отличается оригинал от реплики, нас не наколоть.

– Ладно, – сказала твердо, – выбрасывайте.

Дробов отложил супермена-инвалида:

– Я отдам его одному мальчику. Он собирает суперменов, ремонтирует...

И, опережая вопрос жены «Какому еще мальчику?» подмигнул ей – «куда-нибудь дену».

Вроде бы простой процесс – загрузить пакет, освободив ящики пластмассового комода, пространство под кроватью, под письменным столом, а на самом деле – мучение. Тягостно.

Жена не выдержала, поднялась:

– Пойду на кухне приберусь. Посуда еще немытая... Настюш, не засиживайся, уже спать скоро.

Некоторое время дочка молча, как-то механически брала левой рукой игрушки, мгновение смотрела на них, перекладывала в правую, а потом уж клала в пакет. Дробов даже обрадовался – еще минут десять в таком темпе, и горка исчезнет. Но механичность оказалась обманчивой – Настя уронила руки и посмотрела на Дробова с тоской и болью.

– Пап, а «Побег игрушек» совсем-совсем сказка?

– В смысле?

– Ну, что они страдают, мечтают вернуться...

– В общем, да. – И уже твердо Дробов добавил: – Конечно, сказка. – А сам молил кого-то, чтоб Настя не вспомнила тот случай перед первым классом.

Буквально на первое сентября это произошло: она легла спать, на спинке стула висела готовая форма: клетчатый сарафан, белая блузка, колготки; на полу под стулом стояли черные лакированные туфли, на столе разложены банты, заколки, ранец... Всё, готова к школе, новая жизнь.

И часов в одиннадцать – Дробов с женой тоже уже легли – в дочкиной комнате раздался шум. Непонятный, жуткий.

Вбежали, включили светильник. Настя сидела на кровати, глаза огромные, недоуменные. А возле кровати перебирал ногами и ржал упавший единорог, под кроватью шипела плита для готовки... Каким образом они включились, тем более одновременно, непонятно.

Дробов, не веривший в чудеса, потом себя убеждал, что Настя нечаянно нажала кнопку у единорога под гривой, а плита давно сошла с ума, иногда ни с того ни с сего начинала шипеть и булькать, но все-таки чувствовал, что это неспроста, не абсолютно случайно...

Нет, Настя не вспомнила или не захотела вспоминать.

– Но к игрушкам в любом случае нужно уважительно относиться, – сказал Дробов. Отдам их хорошему ребенку, а от него потом они перейдут к следующему... Многие игрушки очень долго живут.

– А как ты узнаешь, что он хороший?

– Ну, посмотрю... поговорю...

«Лишь бы не спросила, где я его встречу». И, чтобы перевести разговор, Дробов потропил:

– Давай, Насть, заканчивай. Уже действительно поздно.

– О, пап, смотри! – дочка подняла голую, со спутавшимися волосами куклу Барби. – Смотри, какие я ей когда-то ресницы пушистые сделала!

Вокруг глаз ручкой было проведено много-много чёрточек. Вверх и вниз, вбок. Синяя паста выцвела (а может, отмыть ее пытались) и стала почти лазурной. От таких ресниц взгляд у Барби был глуповато-удивленный и в то же время какой-то беззащитный и соблазняющий.

– Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждешь любви прекрасной, а ее все нет, – вдруг спел Дробов.

Спел и удивился: он не слышал эту песню давно, казалось, наглухо забыл о ней, как о многом забываешь к сорока годам, и вот, в подходящий момент, песня взяла и всплыла, и не только припев, а, кажется, вся целиком: «Опять суббота, семь часов, и ты одна опять. Подружка с мальчиком своим опять ушла гулять...»

– А кто это поет? – заинтересовалась Настя. – Про кого?

– Была когда-то такая певица, Барби, – Дробов усмехнулся тому, что помнит и это, – пела такую песню.

Дочка тоже усмехнулась:

– Ее прямо так и звали?

– Ну, сценическое имя. А как на самом деле – не знаю. Тогда это скрывалось, кажется, а потом она куда-то исчезла. И песни перестали крутить.

– Я оставляю Барби, – сказала дочка. – Платье ей сделаю потом... И вот эти игрушки. – Оказывается, она откладывала за спину, словно прятала, кое-что, видимо, особенно ей дорогое.

– Конечно! Что-то нужно оставить на память.

Закончили. Настя умылась, ушла спать. Дробов поставил пакет в прихожей, супермена сунул в карман куртки. Лег на тахту рядом с женой.

По телевизору показывали «Камеди клуб». Неумные ребята веселились и веселили зрителей.

Какое-то время Дробов пытался понять смысл шуток и острот, включиться, а в голове толкались, стремились освободиться из-под толщи времени давние воспоминания. Дробов

этого боялся – воспоминания чаще всего доставляли боль, сжигали и без того скудные запасы энергии; и сейчас он всячески хотел остаться вот таким, лежащим, отдыхающим, вяло улыбающимся шуткам в телевизоре. Да, было прошлое, но есть настоящее, будет завтра, послезавтра, и это важнее того, что случилось двадцать лет назад, пятнадцать, десять. И даже вчерашний день уже не так важен – пережили его, и слава богу.

Дробов давил воспоминания, запикивал обратно под толщу и в то же время удивлялся, как легко выскочила на язык давняя песенка, как на секунду стало приятно, и как тревожно, неуютно было сейчас, когда она потянула за собой остальное... И в голове вертелось, как поцарапанный винил: «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет...»

– Что, засыпать будем? – спросила жена и провела ладонью Дробову по груди.

– Да, надо, – отозвался он, и, может, как-то не так, не таким тоном отозвался, потому что жена забеспокоилась:

– Что-то случилось? Лёш...

– Да нет, нет. Устал просто... И эти игрушки – грустно все-таки...

– Растет дочка. Десять лет. А кажется, вчера только бегали по рынку, искали ванночку подешевле.

Десять лет назад. Две тысячи второй год... Жена лежала в роддоме на сохранении больше месяца. Дробов, конечно, не мог работать по прежнему графику, а дисциплина в компании была жесткая. И после нескольких отгулов, пары-тройки опозданий потребовали написать заявление.

Дробов уволился с легкостью – попросту стыдно стало осознавать, что в тридцать лет, вот-вот отец, взрослый человек, он работает экспедитором. Но новое место не находилось; с деньгами сразу стало туго. И его родители, и родители жены, конечно, помогали, но всё мгновенно на что-то тратилось.

В итоге Дробов снова устроился экспедитором. До того развозил молочные продукты, а теперь стал развозить пиво. Зарплата была немного выше, но статус остался прежним, даже слегка упал. Одно дело молоко, йогурты, сырки, а другое – пиво. И вообще такая работа уже мешала жить: москвич с немосковской профессией... А когда-то на статус в таком его смысле Дробову было плевать.

Отлистрил еще десять лет... Весной девяносто второго вернулся из армии. Кипел энергией – новая послеармейская жизнь совпала с новой жизнью страны... Ну, не совсем новой, но то, что два года назад, в восемьдесят девятом, было почти подпольным, стало доступным, модным. А главное – возраст самый подходящий для того, чтобы что-то свершать, реализовывать идеи, как принято теперь говорить. Ведь одно дело, когда тебе семнадцать и ты многого хочешь, но почти ничего не можешь и не умеешь, а другое – двадцать, два года из которых ты протомился, протосковал, прозлился на зоне под названием в/ч...

Лет с тринадцати-четырнадцати Дробов увлекался рок-музыкой. Бегал в подвалы, в районные Дома культуры, какие-то квартиры на концерты, собирал записи. Копил деньги на бобины для магнитофона, немного позже – на пластинки... Раз двадцать посмотрел фильм «Взломщик», в котором играл его тогдашний кумир Константин Кинчев и вообще впервые, кажется, рок-культура была показана подробно, крупным планом. А на такую мелочь, что из-за рока у героев много неприятностей и даже трагедии, что синтезатор украли, большинство зрителей не обращали внимания.

Да, в восьмидесятые, героические восьмидесятые, Дробов и его друзья были маленькими. Впитывали, фанатели, ощущали желание тоже что-то делать, но ничего делать еще не умели. Так, брэнчали на дешевой акустике, сочиняли банальные песни, которые и разучивать было стыдно. А вот в девяносто втором...

Дробов пришел из армии злым. Злоба копилась в нем два года – армейская дисциплина, пафосные построения и выносы знамени казались абсурдными, идиотскими на фоне развали-

вающейся страны, ежевечерний просмотр программы «Время» будоражил и не давал уснуть; в августе девяностого погиб Виктор Цой, в октябре девяносто первого – Майк Науменко, а оставшиеся рок-музыканты запели какие-то странные, совсем не про жизнь, не про происходящее, песни. Даже сибирский панк Егор Летов ушел в искусственную, убогую мистику. «Летели качели без пассажиров, без постороннего усилия, сами по себе». Казалось, рокеры, очень много сделавшие для перемен в стране (которая из-за этих перемен в итоге и распалась), первыми испугались и стали прятаться от реальности.

Из казармы Дробов искал новые живые песни, но не находил. Туманное не понимал, откровенно стёбное, вроде Лаэртского, «Сектора газа», не любил. Много месяцев надеялся, что в последней пластинке «Кино» есть настоящее, – даже выписал ее прямо в часть (пластинка тогда распространялась в комплекте с полиэтиленовым пакетом и плакатом), прятал в каптерке, искал по части проигрыватель с хорошей иглой, и когда нашел в Доме офицеров, получил разрешение послушать, то после пяти минут чуть не сломал пластинку. Попса! Причем попса хуже «Комбинации». Те хоть не скрывают, попят откровенно, а здесь... Понятия «роко-попс» тогда еще не было, но, может, как раз из-за этого последнего альбома группы «Кино» оно и появилось – форма вроде бы рокерская, а содержание попсовое.

Позже, через много лет, повзрослев, пообтесавшись о жизнь, Дробов слегка смягчился в своем отношении к тем песням, и хоть пластинку с тех пор не слушал (да и не помнил, где она, куда девалась), но когда слышал их на улице возле музыкальных магазинов или в клубах, в груди тепло. Не от самих песен, а от того, с чем они связаны – с прошлым. Плохое оно было или не очень, главное – было.

В декабре девяносто первого, за три месяца до приказа об увольнении в запас дробовского призыва, Советский Союз погиб официально. По вечерам, после телевизора, деды подолгу сидели в курилке и делились слухами: приказ перенесут на лето, а то и на осень, срок службы увеличат до трех лет (а только что сократили с двух лет до полутора), и значит, им нужно настраиваться еще на год; вот-вот начнется настоящая война, и то, что происходит сейчас в Молдавии, Карабахе, Осетии, Средней Азии, разольется по всей стране... Во всё это верилось в тот момент, и в их тихой мотострелковой части в окрестностях карельской Лахденпохьи ожидали сигнала «Боевая тревога!», приказа не о дембеле, а о выдвижении на Питер, на Москву, на Кавказ... Стрельба, кровь, вой раненых...

Некоторые открыто собирались дезертировать, если начнется заваруха: «Гражданка в каптерке. Перелез за баней через забор – и до дому. Так и так всё одним местом накрывается, можно и без военника жить».

Да, парни, в том числе и Дробов, подумывали сбежать, но никто не сбежал, а наоборот, перед самым дембелем шесть человек их призыва остались на сверхсрочную.

Дробова сначала эта новость оглушила: как это, два года мечтать о доме, о свободе, ненавидеть плац, казарму, воняющий гнилью пищеблок, а потом взять и добровольно остаться, служить за копейки. И одновременно с этой оглушенностью в нем самом рос страх перед той жизнью, какой он заживет, вернувшись домой... Вот выходит за ворота, станция, садится в поезд, через десять часов на площади Трех вокзалов, получает в военкомате паспорт. А дальше?

Страх слегка гасил мечты. Что вот дембельнется, встретится с друзьями, соберут группу (за два года Дробов сносно научился играть на акустике, сочинил несколько неплохих текстов) и начнется настоящая, бурная и сытая жизнь. Вон сколько групп появилось в последнее время, и мгновенно становятся известными, концерт за концертом, интервью, тачки. А песни-то – фигия. Кто такое слушает?... А вот их группа – она действительно будет выдавать настоящее.

Это были даже не мечты, а уверенность, та уверенность, какая поселяется в человеке, находящемся в замкнутом пространстве, в несвободе. В глубине души Дробов понимал, что уверенность эта обманчива, но она помогала переживать последние, самые трудные, долгие недели перед увольнением. Хоть как-то планировать будущее.

Утро в будни начиналось в половине седьмого. Пиликал будильник в мобильном телефоне, и Дробов с женой поднимались.

Поднимались медленно и тяжело, зевая, вздыхая; казалось, что совсем не выспались, но уже через десять минут оживали и начинали торопиться. Дробову нужно было быть на работе в восемь, жене – в девять. Обычно она и отводила дочку в школу. Школа находилась рядом – во дворах через переулок, – правда, одну Настю пока не отпускали.

Летом и в каникулы распорядок немного менялся – Настя оставалась дома. Раньше это было почти неразрешимой проблемой: как разорваться между работой и дочкой. Приходилось то просить бабушек и дедушек посидеть (но у них тогда было много своих дел, все четверо тоже еще работали), то брать отгулы, то находить дежурные детские сады, работающие в июле-августе, и школьные лагеря (отправлять Настю далеко не хватало денег, да столько ходило разговоров нехороших, что отпускать было страшно)... В общем, отдых для ребенка становился не отдыхом, а общесемейным мучением.

Но вот она подросла и теперь оставалась в квартире одна, сама могла разогреть обед, занять себя чем-нибудь; гулять одной ей не разрешали, она и не рвалась – все эти новости о похищении детей пугали и ее...

Сейчас конец августа, последняя неделя лета; Настя собирается в школу – теперь у них будут отдельные учителя по предметам, всё совсем всерьез, и она серьезно к этому готовится. Жена как раз взяла недельный отпуск, помогает, подкупает мелочевку...

Да, вот-вот осень. Сначала сентябрь, потом октябрь, а там почти зима... В сентябре продажа пива становится выше, чем летом, а затем снижается, снижается... Снижается и зарплата. Хорошо, что есть подработка, несколько лет уже есть, неплохая по деньгам, физически довольно легкая. Именно физически. А если начнешь раздумывать, вспоминать, чего хотелось и что получилось... Нет, не надо раздумывать и вспоминать. Стыдная, короче говоря, подработка, и Дробов ее держит в тайне даже от жены, хотя деньги в семейный бюджет отдает...

Вышел сегодня минут на десять раньше обычного – нужно было завернуть в молочную кухню. Нес туда пакет.

Настя оставила несколько мягких игрушек, среди них большую кошку, которая когда-то мурчала, а потом сломалась, но осталась любимой; не решилась дочка расстаться и с тремя Барби, в том числе и с той, с нарисованными ресницами. Обещала сделать им новые платья и подарить потом своей дочке... Еще кое-что, конечно, осталось, но комод освободился, под кроватью больше не было завала. Комната не ребенка уже, а девочки-подростка. Десять лет.

Дробов нес в молочную кухню лучшее – всякий лом и хлам спустил вчера поздно вечером в мусоропровод. Конечно, больно было выбрасывать даже откровенно негодное, но что делать... Ладно, так или иначе, но на протяжении жизни нужно проводить несколько таких чисток. Жизнь делится на этапы, и в каждый желательно входить без лишнего груза. Иногда избавляешься от него сознательно, как вот Настя сделала, а чаще происходит это незаметно, само собой – однажды приостановишься, оглядишься и видишь, что рядом нет вещей, которые считал бесценными, людей, которые были друзьями, и любимые некогда песни не слушал давным-давно, любимые книги теперь где-то на антресолях...

Молочка располагалась на первом этаже девятиэтажки. Две комнаты. В одной по утрам толпятся посетители – родители, бабушки, инвалиды, а в другой суятся две грузные тетеньки в белых халатах, выдают по рецептам кому пакетики с молоком и кефиром, кому упаковки порошка для грудников, кому диетический творожок... Когда-то каждое утро сюда прибегал Дробов, хватал нужное и мчался обратно домой, совал жене и снова бежал, но уже в метро – на работу.

Случалось, появлялся здесь удачно – получал питание почти без очереди, а бывало, очередь вытягивалась аж до тротуара. Сегодня было нечто среднее – на крыльце и ступеньках

несколько человек. Дробов увидел их, и внутри знакомо засосало: стоять, терять драгоценные минуты... Но вспомнил, что он здесь по другому поводу, и весело взбежал на крыльцо, сунулся внутрь.

– Здесь вообще-то очередь, – тихо, но раздраженно заметила молодая женщина с темными кругами вокруг глаз; Дробов не разглядел, то ли это косметика, то ли от утомления.

– Да я не за питанием...

– Да? А за чем, интересно? – голос завибрировал; понятно, решила, что он не просто хам, а еще и врун.

В очередях на молочке перебранки возникали редко. Люди старались быть вежливыми, терпимыми, словно товарищи по некоему испытанию; женщин с маленькими детьми часто пропускали вперед, но уж с теми, кто нагло лез, не церемонились.

– Игрушки хочу оставить, – стал объяснять Дробов. – Дочка выросла, попросила отнести.

– Да? – теперь это «да» прозвучало иначе, жадновато как-то. – А что там?

– Куклы, зверюшки из шоколадных яиц, – с каким-то удовольствием стал перечислять Дробов, – детали лего...

– Лего? – глаза женщины заблестели. – У меня старший собирает, совсем чокнулся – постоянно новые требует... Давайте мне, я отберу, что надо.

Он протянул пакет:

– Только остальное не выбрасывайте. Там много всего... На стол там положите, – кивнул в коридор молочки.

– Да-да, конечно...

Избавившись от пакета, Дробов почувствовал себя небывало легко – действительно, как гора с плеч. Бодро пошагал к метро и даже запел:

– Красишь ты ресницы...

Показалось, что поет очень громко. Замолчал, оглянулся. Хорошо, что сзади никого не было. Неудобно: взрослый человек... Как-то Дробов стоял на эскалаторе и за спиной услышал хриловатое, басовитое: «Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани». Дробов машинально посмотрел на поющего – немолодого коренастого мужика. Они встретились взглядами, и в глазах мужика мелькнул испуг. Будто опозорился, оскрамился.

Нет, бывает, бывает. Налипнет на язык какая-нибудь глупость и вертится неделями.

Контора находилась в районе метро «Авиамоторная». Вокруг станции красивые жилые дома, трамваи позванивают, а отойдешь от шоссе Энтузиастов на несколько десятков метров, и оказываешься среди железобетонных заборов, складов, ржавых ворот. Настоящая окраина, хотя по карте и находишься недалеко от центра. Но лет пятьдесят назад это действительно была окраина, потом город разросся, а такие вот островки остались. И здесь, и недалеко от метро «Дмитровская», и возле «Тульской», и возле «Белорусской», где в Большом Тишинском переулке Дробов жил до свадьбы...

Склады и ангары, территории за заборами кажутся пустыми, безжизненными, брошенными, а на самом деле там кипит жизнь. Разгружают и загружают грузовики, озабоченно пересчитывают коробки, упаковки, мешки, передают из рук в руки пачечки денег... Склады больше напоминают развалины, кабинеты как чуланчики; грузовики в основном грязные, зараженные ржавчиной «газели» и «бычки», накладные вечно какие-то мятые, в рваных файлах, деньги кажутся липкими... Уже лет десять повсюду говорят о цивилизованной поставке товаров, об электронных документах, санитарных нормах, новых складских помещениях, и всё это появляется, но сколько еще таких вот контор, как эта, где работает Дробов.

Шагает через коридорчик проходной. Здоровается с охранником коротким кивком и получает такой же короткий, экономный кивок. Это у них как пропуск, и, кажется, кивни иначе, охранник заподозрит неладное, задержит.

Дождей не было давненько, поэтому территория сухая, без луж. Но когда случается ливень, и в сентябре, октябре, когда на Москву льет и льет, возле ворот образуется настоящее озерцо, и тогда плохое настроение возникает с самого начала дня – хреново выезжать на маршрут, форсируя грязную преграду... Раза три-четыре на памяти Дробова углубление перед воротами засыпали гравием, но вскоре гравий исчезал и лужа появлялась снова – будто природа сама выбрала именно это место для того, чтобы дождевая вода и талый снег где-то собирались. Выбрала место и не желала его отдавать.

Первым делом Дробов заходит в двухэтажный домишко. В конуре с одним крошечным окном сидит Света, девушка лет двадцати семи, а может, и больше. Дробову стало сложно судить о возрасте давно знакомых людей – вроде и девять лет назад той же Свете было лет двадцать семь, и теперь... Когда видишь человека чуть ли не каждый день, изменения почти незаметны.

– Привет, – говорит Дробов.

Света отвечает бесцветным междометием.

Когда-то они улыбались при встрече, перешучивались, обменивались новостями, советовали друг другу посмотреть интересный фильм, но однажды Дробов, опять же шутливо, спросил Свету: «Ты специально “экспедитор” через “и” пишешь? Фишка такая?» Он давно замечал, что в документах стоит «экспидитор», усмехался, и вот спросил. Надеялся, что Света улыбнется, скажет: «Ой, точно, надо же “е”!» И будет ставить «е». Но Света не улыбнулась, а пристально посмотрела в накладную, нахмурилась, тычком сунула Дробову документы и через губу объявила маршрут: «Север-два».

С тех пор шутки закончились, теплое общение прекратилось. А «и» в документах продолжает появляться... Что-то нездоровое чувствуется в такой Светиной обиде. Впрочем, это понятно – на протяжении многих лет сидеть в этой конурке, заниматься одним и тем же... А как она живет вне работы, Дробов не знает. Обручального кольца на пальце не было и нет; может, она не просто улыбалась Дробову. А он взял и обидел, уличил в неграмотности, ткнув в это «и».

Извиняться теперь, конечно, глупо, да и за что, собственно, извиняться? Пускай дуется... Но так неприятно, когда тебе буркают, чуть не швыряют накладные...

– Юг-один, – говорит Света, резко протягивает документы, глядя в то же время подчеркнуто внимательно в экран компьютера. Монитор громоздкий, занимающий с четверть стола; Дробову хочется посоветовать Свете, чтобы попросила начальство купить узенький монитор, он ведь пустяки стоит, а от этого глаза портятся... Но, естественно, не говорит, а лишь благодарит по возможности теплее:

– Спасибо, Света!

Маршрут очень даже неплохой. Это не тащиться куда-нибудь в Медведки или на Юго-Запад, не ползать по переполненному центру. Главное, пробыть без проблем по Третьему транспортному, переехать Москву-реку. Нагатинский мост всё еще ремонтируют – из четырех полос открыты две... Но по этому маршруту вполне реально часов до пяти закончить. А в шесть быть дома.

За те годы что Дробов работает здесь, начальство несколько раз пыталось провести некоторые изменения. К примеру, когда пробки стали практически повсеместными с семи утра до десяти вечера, развозку груза перенесли на ночь. С одной стороны, вроде бы разумно – магазины и киоски почти везде круглосуточные, а дороги ночью свободны: развозка происходит намного быстрее, чем днем. Но коллектив (хотя какой это коллектив – десятка три случайно оказавшихся здесь людей) не поддержал: часть грузчиков не приходила в положенное время, а если они и приходили, то нередко пьяные; несколько водил попросту уволились, да и экспедиторы, товароведы были недовольны новым графиком, то и дело опаздывали, брали больничные.

Начальству это недовольство было, в общем-то, по барабану. Недовольным предложили расторгнуть контракты (в штате числилось всего человек семь-восемь, остальные работали по контракту); водил, грузчиков, экспедиторов в Москве всегда как грязи – уйдут эти, набегут по объявлению другие. Но произошли одна за другой две серьезные аварии (слава богу, без смертельных случаев), несколько мелких. То ли водители были утомлены после дня, то ли почувствовали простор пустых улиц и втопили газ... Чтобы не начались проверки конторы – «им только повод дай», – наверху решили вернуться к прежнему графику. Пусть лучше днем кое-как. Как большинство. По крайней мере, незаметней.

Дробова вообще-то переход на ночные рейсы почти не напряг. Днем была возможность выспаться, пока Настя в школе, жена на работе; подработка и репетиции происходили в семь-девять вечера, поэтому на работу он успевал... А вот другая новация возмутила. Да нет, попросту стала угрожать Дробову увольнением, то есть – по-современному – непродлением контракта.

Воспользовавшись очередным финансовым кризисом, начальство задумало оптимизировать количество сотрудников. Покумекало и пришло к выводу, что экспедитор-то, в принципе, лишнее звено, а его обязанности может совмещать водитель за небольшую прибавку к зарплате.

Опять же, в принципе, разумная мысль, только на деле совместить водилу с экспедитором получалось далеко не всегда. Проблемы начинались с погрузки – водители, по какой-то их водительской традиции, что ли, не очень торопились отправиться в рейс. Интересно, что при экспедиторе, который почти всегда безуспешно пытался подгонять грузчиков, водитель, потомившись в кабине, мог гаркнуть на всех скопом, включая завскладом: «Мне что, вообще сегодня не выезжать?! Давайте живей!» И грузчики начинали шевелиться. А с накладными в руках, уже в роли экспедиторов, водилы становились неопытными экспедиторами – несмело, вяло уговаривали грузчиков поторопиться, путались в товаре, количестве... Из небожителя, каким у нас с давних пор считается человек, управляющий техникой, водила превращался в простого смертного, которого можно хотя и не всегда открыто, но послать.

Главные же геморры возникали при разгрузке. Одно дело, когда товар привозили в ларек: передал две-три упаковки пивка, получил роспись в накладной и дуй дальше, а вот когда доезжали до супермаркета...

С действительно большими супермаркетами их контора не работала – там поставки были серьезные и от серьезных дистрибьюторов, – товар поставляли во всякие «Кварталы», «Дикси», «Дешево». Эти магазины находятся на первых этажах жилых домов, разгрузка часто происходит на тротуаре, и перед дверями выстраиваются вереницы грузовиков. Одни с пепси, другие с молоком, третьи с капустой... Тут же выползают из дворов легковушки, ругаются прохожие. Настоящее столпотворение. И нередко экспедиторам приходится становиться регулировщиками или хватать упаковки и нести без очереди в магазин: «Прими, тут всего ничего. Пожалуйста».

Водителю одному в такой ситуации очень сложно – можно часа три потратить на то, чтобы добраться до вожделенных дверей и сдать несколько упаковок.

В общем, эта оптимизация тоже практически провалилась. Из одиннадцати водил лишь двое обходятся без экспедиторов – готовы больше работать, время терять за лишние пять тысяч рублей.

По существу, лишь одно новшество порадовало коллектив – покупка автокара. С ним даже не то что быстрее все происходит, а как-то веселее: вроде бы цивилизация, модернизация и у них, в их явно левой полуподпольной конторе.

Заполнили сегодня кузов «бычка» довольно энергично – Сане, водиле, с которым Дробов работает в паре, даже прикрикнуть не пришлось. Удачно живо грузчики были настроены.

Напоследок Дробов еще раз сверил количество и ассортимент пива в кузове с накладной. Всё в порядке... Спрыгнул на землю.

– Едем? – спросил Саня, мощный, морщинистый, не похожий на свои немного за тридцать; какое-то преждевременное старение, что ли, или так и должен выглядеть мужчина этого возраста, и то, что большинство тридцатилетних выглядят в Москве почти юношами, аномалия...

– Едем, едем, – закивал Дробов; он ощущал себя рядом с Саней как младший и по возрасту, и по должности.

Саня застегнул тент. Сели, тронулись.

– Юг-один сегодня? – И, не дожидаясь ответа, Саня оценил: – Нормал.

Включил радио, из динамиков, установленных в обшивке салона, ударили звуковые волны. И зазвучала песня:

Давайте выпьем, Наташа,
Сухого вина,
За то, чтоб жизнь была краше,
Ведь жизнь одна.

– Это, если не ошибаюсь, «Фристайл»? – послушав, спросил Дробов.

– Да какой «Фристайл»? – Саня возмутился. – Эт «Сталкер». Андрей Державин. У меня под его «Не плачь, Алиса» половое созревание происходило.

Дробов усмехнулся понимающе.

– А «Фристайл» – Казаченко, – охотно продолжал объяснять обычно молчаливый Саня. – Помнишь, который всё хныкал: «Больно мне, больно...»

– М-м, точно... Интересно, где теперь Андрей Державин. Что-то давно о нем не слышно.

– Клавишником в «Машине времени».

– Да?.. Вроде совсем из разных кругов.

– Но музыкант-то неплохой.

– Слушай, Саня, – Дробов почувствовал, что сейчас подходящий момент задать один вопросик, – а ты не помнишь, была такая певица – Барби?

– Барби? – Саня нахмурился, вспоминая, морщины превратились в борозды. – А что она пела?

– Ну, такое... «Красишь ты ресницы в ярко-синий цвет, ждешь любви прекрасной, а ее всё нет».

– Что-то было... когда-то слышал, кажется... А каких времен?

– Да тоже начала девяностых. Вот вспомнилось вчера, и теперь вертится...

– Бывает.

Съехали с относительно свободного шоссе Энтузиастов на широкое, но забитое машинами Третье транспортное. Саня заворчал, записывал, и Дробов не стал продолжать разговор о полузабытой музыке, отвалился на спинку сиденья, прикрыл глаза. И посочились, полезли в голову воспоминания.

Нет, не совсем воспоминания, а словно бы склеенные как попало обрывки пленки с его прошлым, прошлой жизнью. Увиделся двор родной девятиэтажки в Большом Тишинском. Девятиэтажка была тогда новой, только построенной, а вокруг двухэтажные, трехэтажные домишки... Но в середине восьмидесятых домишки стали активно сносить. И теперь ни в самом переулке, ни по соседству почти ничего не осталось от старой Москвы; был на перекрестке Большого Тишинского и Малой Грузинской улицы симпатичный дом, полукруглый, с магазинами внизу. Такой из девятнадцатого века. Но года три назад добрались и до него, стали проводить капремонт, а в итоге оставили лишь фасадную стену. Как обломок зуба торчит...

Обещают эту стену сохранить, пристроив к ней новое здание, но вряд ли получится – стена в таком состоянии, что теперь легче и безопаснее доручить, чем пристраивать...

Вслед за этим мелькнула сценка, как Дробов покупает на Горбушке свою первую электрогитару... Сквер, торговцы с пластинками, кассетами, струнами, и вот Дробов принимает в руки бордовую «Форманту», большую, с массой кнопочек...

– В ней фуз есть, – говорит уже бывший хозяин «Форманты». – Для рубилова – само то. Что играть-то собираешься?

– Рок, – слегка растерянно отвечает Дробов.

В глазах у стареющего парня грусть. То ли тяжело расставаться с гитарой, то ли еще что... И на прощание он желает удачи – словно отправляя Дробова в путь, который ему самому пройти не удалось.

...Дробов приподнял тяжелые, будто двое суток не спал, веки, посмотрел вперед – за лобовым стеклом ряды машин, ползущих со скоростью гуляющего человека... Хорошо, что хоть так. Бывает, встанешь и стоишь десять минут, пятнадцать, полчаса. Потом кто-нибудь самый нетерпеливый вылезает из машины и идет вперед узнать, что там случилось, и, возвращаясь, сообщает высовывающимся водителям рыдающим голосом: «Опять авария!» Или по радио узнаешь, что ДТП, и пробка образовалась такой-то протяженностью, и загруженность трассы десять баллов. И ни вбок, ни назад, ни машину не бросить. Сидишь и ждешь. Обязательно где-нибудь отчаянно «скорая» завывает, крикает полицейский автомобиль. От бензинового дыма болит голова, хочется пить, есть, хочется в туалет...

Но сейчас двигались. Медленно, то и дело приостанавливаясь, все же покрывали эти драгоценные метры Третьего транспортного кольца... Саня ворчал, что надо было по Рогожскому валу и там через Новоспасский мост... «Хотя наверняка тоже забито. Ловушка, а не город».

Дробов поддержал вздохом.

...Он дембельнулся в мае девяносто второго. Сразу пошел по друзьям – по тем, с кем два года назад учился играть на гитаре, мечтал собрать группу. С этой мыслью и пошел – теперь уже не мечтать, а действовать.

Один из друзей еще служил в армии, двое превратились в мелких бандитов и не помнили ни о каких гитарах, ни о какой группе. Еще один друг поступил в институт и учился с упорством взявшегося за ум дебила... Вообще встречи с друзьями не получилось – друзья стали другими, говорили на каком-то другом языке; Дробову казалось, что он пробыл вдали от Москвы не два года, а лет десять...

Ребята в группу собирались постепенно. С Андреем, соло-гитаристом, Дробов познакомился на концерте «Мамонов и Алексей», с барабанщиком Пашей, у которого была смешная фамилия Гусь, органично превратившаяся в погоняло, на пивном празднике, с Максом, который стал басистом, в музыкальном магазине на Арбате.

Первое время просто встречались, выпивали, выясняли, кому какие группы нравятся, что бы сами хотели играть. Андрей показывал свои тексты, Дробов – свои. Корявенько пели под акустику и объясняли, как видят их в инструментале.

Долго искали место для репетиций, собирали Паше ударную установку (первоначально он обладал лишь рабочим и тарелкой)... Сравнивая свои мытарства с воспоминаниями рокеров семидесятых-восьмидесятых, Дробов видел, что им с парнями теперь, во времена свободы, куда труднее. В восьмидесятые довольно легко можно было устроить базу в каком-нибудь ДК; в Питере и Свердловске были рок-клубы, в Москве – Рок-лаборатория, а теперь... Нет, всяческих студий появилось немало, но за них нужно было платить, владельцы видели в музыкантах коммерков, решивших разбогатеть, лабая песенки, а не идейных, не собратьев...

Каким представлял в двадцать лет Дробов свое будущее? Конечно, видел себя человеком, живущим музыкой, музыкой зарабатывающим.

Несколько раз родители заводили разговор, что нужно бы Лёше поступить в институт, ну или в училище на худой конец. «Необходимо иметь профессию». Тогда Дробову, сутками сидящему в своей комнате с гитарой – учился играть, поставив маленький усилитель на минимальную громкость, – эта мысль казалась дикой. А он чем занимается? Как раз и приобретает профессию.

Лето прожил на родительские деньги и на то, что ему выдали, когда увольнялся из армии (даже вот «Форманту» удалось купить), а ближе к осени все-таки устроился на работу. Курьером в одну парфюмерную фирму. Вез по Москве документы, какие-то свертки... Работа, конечно, доставляла мало радости, но в ней был андеграундный дух («Цой кочегаром работал, Майк сторожем, Мамонов лифтером, а я – курьер»), да и некий протест: все стремятся зарабатывать, пробиться наверх, он же демонстративно не хочет этого. Точнее, конечно, хочет, но не так.

К тому же это очень напоминало фильм «Курьер», и Дробов тогда часто говорил почти с гордостью: «Я курьером работаю. Как в фильме. А вообще-то я музыкант».

После курьера (фирма закрылась, исчезла в одночасье) стал грузчиком на хлебозаводе рядом с домом, потом – грузчиком в мебельном магазине, развозчиком газеты «Из рук в руки», побыл расклейщиком объявлений недели две, снова грузчиком – в типографии на Вальной улице. Затем начался период экспедиторства...

К работе Дробов и ребята из группы (а они тоже зарабатывали на жизнь подобным образом) относились как к чему-то вынужденному, второстепенному. Главной была группа. А она развивалась с трудом.

Три раза в неделю собирались на репетиционной базе (базы были разные, но все в подвалах, бывших котельных, на складах), арендовали на несколько часов комнату с аппаратурой за небольшую плату. Играли. Но что значит играли... С полчаса уходило на то, чтобы барабанщик прикрутил свои тарелки, установил хэт, педаль бочки, а гитаристы разобрались со шнурами, отрегулировали звук, подстроили гитары. Обязательно кто-нибудь опаздывал.

Когда всё было готово, вспоминали, что делали на прошлой репетиции. И опять кто-нибудь забывал свою партию, смотрел в записанные два-три дня назад аккорды и морщил лоб: «Блин, как я это играл?» Особенно изматывали споры во время создания новой песни. У каждого были свои предпочтения, свои ориентиры.

Ударник хотел темпа «под “Эксплоитед”», басист – партий для себя «как у Лемми в “Моторхэд”», соло-гитарист настаивал на том, что играть надо, как «Дэд Кэннедис», а Дробов, ритм-гитарист, все песни хотел видеть близкими к его любимым «Студжис» (как раз тогда на фирме «Антроп» вышли две их пластинки) и продвигал такой стиль – вязкий, ритмичный, с тягучими соляками... И хоть в итоге удавалось приходиться к чему-то среднему, придумывать оригинальные мелодии, но каждый раз этому предшествовали споры, экскурсии в историю мировой музыки, ссоры, беганье за выпивкой...

А чего стоил выбор названия для команды! Одно время репетиции как таковые вообще прекратились – сидели и предлагали слова. Сотни слов. У всех была уверенность, что без названия репетировать не имеет смысла.

Сегодня развоз товара прошел относительно быстро. Относительно большинства предыдущих развозов. К половине пятого кузов опустел, возврата просроченного пива, слава богу, не было. Правда, в двух киосках оплатили реализацию – приходилось возвращаться в контору.

– Ну что, Саш, я на метро доеду, – сказал Дробов, – а то опять по пробкам...

– Давай. – Саня явно обрадовался, он еще успевал до вечернего потока добраться до своего Жулебино. – Кстати, как, ты говорил, ту певицу зовут?

– Какую? – После возни с упаковками, накладными Дробов с трудом воспринимал что-то другое.

– Ну, утром говорили. Ты еще напел про ресницы...

– Барби.

– Гляну. В последнее время что-то тянет поностальгировать. Оказывается, было там интересное, и все эти «Комбинации» совсем по-другому слушаешь...

– Да, наверно.

Дробов сел в метро, доехал до «Авиамоторной», вручил накладные и двадцать четыре тысячи выручки Светлане. Та расписалась в получении денег, дала расписаться Дробову. Всё молча. Из ушей торчали проводки.

– Что слушаешь? – спросил Дробов.

– А?.. Аудиокнигу... «Трое на четырех колесах».

– Ясно... – Дробов уважительно, но и разочарованно кивнул. Почему-то был уверен, что у нее там тоже играет что-нибудь старенькое. – А кто автор?

– А? – Светлана уже с раздражением посмотрела на него.

– Да нет, так... Я свободен?

– Да, до свидания.

Миновал проходную, кивнув коротко охраннику, но уже другому, не утрешнему. По безымянному переулку, а вернее, по проезду меж заборами пошагал к метро. Если поспешит, то доедет до дому без давки... «Черт, – тут же разозлился на себя, – только и заботы что о том, чтобы утром проехать свободно и вечером тоже...»

Зазвонил телефон. Жена беспокоится?.. Нет, оказалось, Паша Гусь, барабанщик.

– Слушай, тут прояснилось: завтра репетиция.

– Понял. Там же?

– Ну да, там же... И подумай, чем репертуар обновить.

– Попробую.

Сунул телефон в карман и наткнулся на супермена. Так и протаскал весь день. Достал, не глядя швырнул за забор.

...Группу назвали «Антидот», отточили пять композиций и записали демо. В фирме наштамповали десятка два сиди-дисков (немалых денег это тогда стоило), раздали послушать директорам клубов. Удалось выступить на нескольких сборных концертах. Приняли неплохо, хотя, в общем, всех неплохо принимали – главное, чтобы жестко было, динамично, драйвово... После концертов получали небольшой гонорар.

Потом была запись альбома. Тяжелая, долгая, мучительная. Чуть окончательно тогда не разбежались. Но – записали. Заказали обложку, отпечатали сотню экземпляров, развезли по рок-магазинам, ларькам. На продажу брали альбом неохотно, первым делом спрашивали: «А что за лейбл?» – «Сами», – поначалу гордо отвечали парни. На них смотрели с усмешкой: «И вы думаете, неизвестную группу с неизвестным лейблом будут расхватывать?» Действительно, покупали диски очень неохотно.

И, несмотря на все попытки (вялые, правда, какие-то неправильные) пробиться, обрести известность, «Антидот» оставался одной из сотен подобных групп. К тому же оказалось, что в России и мире существуют еще несколько «Антидотов»... Раза два-три в месяц играли в сборниках, пару раз удостоились сольников в клубах, но было продано всего несколько билетов, и с тех пор о сольниках речи не шло... Продолжали репетировать, делать новые песни, ругались, спорили...

В юности Дробов был уверен, что двадцать лет – это огромный срок, по существу, вся настоящая жизнь, и вообще век человека, строго говоря, делится на три части, каждая длиною по двадцать лет.

Первые двадцать – подготовка, вторые – активный период, а третьи – увядание. Представить себе человека после шестидесяти было трудно, старики казались тогдашнему Дробову не совсем уже людьми: так, ждущие смерти существа. А уж представить себе рокера-долгожителя было вообще невозможно.

Начиная заниматься музыкой, Дробов посмеивался над стартовавшим как раз в то время парадом юбилеев: двадцатилетие «Машины времени», «Аквариума», десятилетие «ДДТ», «Центра», «Пикника», «Звуков Му», «Наутилуса», «Крематория», «Алисы», «Браво», «Коррозии металла», «Гражданской Обороны»... «Монстры, блин. Настоящие года за три успевали встряхнуть болото, а эти...»

А как получилось у них? Вот и их группе двадцать лет. И что? Ничего не встряхнули, так, повибрировали в болотной жиже, замирая на долгие месяцы... Хм, месяцы долгие, а двадцать лет пролетели стремительно. Что запомнилось, что можно выудить? Даже не из скудной истории группы, а вообще из его этой, как он когда-то считал, настоящей жизни?

Не забывалось, как в последний раз насели родители, чтобы куда-нибудь поступил. Дробову тогда было двадцать шесть. «Хватит уже болтаться! – необычно для себя жестко говорила мама. – Пора серьезную специальность иметь!» Он тогда и сам подумывал об этом – без образования ему действительно мало что светило. Но как это – учиться вместе с семнадцатилетними? Стыдно уже... И, в общем, не стал никуда поступать.

Что еще? Еще – встреча с будущей женой. Познакомились на концерте группы «Крематорий». Хороший был концерт, в основном звучали старые песни. Армен Григорян грустно исполнял энергичную вообще-то тему:

И у Тани на стене нарисовал я облака
И слона с ослом, летящих в никуда,
И она ложилась спать, схватив слона за крыла,
А просыпалась с хвостом осла.

Девушка рядом с Дробовым подпевала, и когда песня кончилась, он спросил:

– А вас не Таня зовут?

– Нет, Наталья. И я еще жива. – У песни был припев: «Жаль, что она умерла».

– Извини, – кивнул Дробов, – но Таня, судя по всему, была классной... Может, выпьем что-нибудь?

За их спиной был бар. Девушка легко согласилась:

– Давай. Только узнаем, какая следующая будет... «Мусорный ветер» послушать хочу. Следующей песней был не «Мусорный ветер», и они пошли к бару.

– Я первый раз на «Крематории», – сказал Дробов, – хотя воспоминания у меня с ним очень мощные связаны.

– Какие?

– Я с билетом на него в армию уходил. До последнего надеялся, что отправку перенесут и схожу... А довелось только теперь.

– Ты в армии был? – Наталья посмотрела на него с интересом.

– Ну да.

– А откуда приехал?

– Куда?

– Сюда, в Москву.

– Хм, с Большого Тишинского переулка.

– Москвич... Не похож.

– А ты?..

– Я с «Полежаевской».

– Ничего себе! Почти, получается, соседи.

После этого стали встречаться. Дробов подарил ей диск с песнями своей группы (сам сделал сборник из не очень матерных и примитивных), Наташе понравилось...

Как поначалу она не поверила, что Дробов москвич, так и он не верил, что она родилась и прожила свои двадцать шесть лет в столице. Нетипичная москвичка. Хотя... Хотя их очень много, таких нетипичных, просто ведут незаметный образ жизни. Словно прячутся от этого круглосуточного шума, суетни, битв за деньги, за славу...

Окончила после школы бухгалтерские курсы, работала в бухгалтерии одного научно-популярного журнала, который когда-то, в советское время, пользовался спросом, а теперь... Около пятисот подписчиков, около тысячи покупателей.

Когда Дробов впервые побывал в их редакции на Новой Басманной, просто глазам не поверил: показалось, что попал в декорации фильма о глухом застое. Громоздкие толстостенные шкафы с какими-то пыльными книгами, подшивками; скрипучий шевелящийся паркет под ногами, фанерная обшивка на стенах, всё покрыто потемневшим лаком. В кабинетах большие столы, тяжеленные стулья, которые женщины с одного места на другое не переносили, а перетаскивали. И хоть в то время уже стояли компьютеры, но на сейфах, шкафах, на широких подоконниках – как какой-то ветеранский резерв – пишущие машинки...

Люди в этом здании были тоже словно из прошлого, проводили рабочий день неспешно, в полусне, с постоянным жиденьким чаем, печеньками, ленивыми разговорами... Дробову опять вспомнился фильм «Курьер». И, наверное, таких заповедников по Москве еще оставались сотни и сотни, а может, и в свежих офисах создавалось, устанавливалось нечто подобное.

Наталья не имела больших запросов, претензий, и Дробова это, особенно в начале отношений, раздражало – симпатичная, неглупая девушка, а живет так тихо и скромно, будто ей кто-то когда-то напроорочил, что никуда никогда она не пробьется, ничего не достигнет, а если не поверит и сунется в московский водоворот, то потеряет то небольшое, что имеет. И замуж за Дробова она вышла, кажется, не по любви, а так – встретился подходящий парень, не алкаш, не подонок какой-нибудь, москвич. Подходит, можно связать с ним жизнь.

Но теперь, после двенадцати лет вместе, ее ровность, скромность очень Дробову нравились и только укрепляли семью. Домой он ехал без боязни нарваться на скандал, проблемы почти всегда решались спокойно... Удивительно, у него за эти годы ни разу не возникало желания другой женщины, хотя в юности был уверен, что их будут десятки, сотни. Для этого, считал, только и стоит жить – секс, рок-н-ролл, ну и легкие наркотики бы неплохо... Смешно, конечно, вспоминать об этих принципах, но, наверное, подобное – по крайней мере, желание обладать женщинами – многих и толкает лезть на Олимп.

У Дробова не получилось. Обыкновенная жизнь обыкновенного человека: любимая и убаюкивающая своим спокойствием жена, послушная дочка, сносная работа. Есть и хобби, и одновременно средство для подработки – гитара.

Открыл дверь. В нос ударил запах жареного мяса, и Дробов сразу и резко почувствовал, что очень голоден – за весь день съел один беляш.

– Привет, – сказала Наталья, появившись из их комнаты. С легкой улыбкой подошла, подставила щеку, Дробов поцеловал. – Раздевайся, ужин готов.

– Да...

– Пап, приве-ет! – как-то, как в детстве, подбежала дочка, прижалась. – Игрушки отдал?

– Отдал. Хорошей женщине. У нее сын и дочка, – и глянул на жену, не кольнула ли ее эта «хорошая женщина».

Нет, Наталья ответила заговорщицким кивком: «Хорошо, правильно сказал».

Дочка облегченно выдохнула:

– Пусть играют.

Потом ужинали. Бубнило радио из старенькой магнитолы «Томь», Дробов не слушал, ел напряженно.

– Проголодался... – с сочувствием отметила жена. – Нормально всё на работе?

Когда-то она спрашивала: «Как дела на работе?» – и Дробову приходилось вымученно отвечать: «Нормально... Всё нормально». Теперь можно даже не говорить ничего, а просто головой покачать.

Но молчать нехорошо, и Дробов интересуется:

– А у тебя?

– По-прежнему. Слава богу... Сегодня пораньше приехала, сходили с Настей купили колготки, для школы разное...

– Да, через три дня в пятый класс, – поддерживает Дробов и спохватывается: – А в этом году первое сентября в субботу же...

– Будет линейка, урок-знакомство...

– А потом мы в кино собрались, – добавляет Настя.

– Ясно... Вечером можно в суши сходить, – Дробов отодвинул тарелку, потянулся к заварному чайничку. – У нас репетиция завтра. Паша звонил.

– М-м! – оживилась жена. – Возобновляете?

– Да вроде. Новые песни подкопились, надо посмотреть, как что. Может, – старался говорить так, чтобы у жены не возникло сомнения, – может, и альбом запишем. Попробуем...

После ужина дочка ушла к себе, а Дробов с Натальей к себе. Устроились на диване перед телевизором.

Смотреть, как обычно, было нечего. Десятка два каналов, но, оказавшись на любом из них, сразу тянуло переключить. Какие-то фильмы на середине, ток-шоу, больше похожие на ругачку, реклама, реклама, гон о летающих тарелках, мультики, клипы...

Дробов задержался на Наташе Королёвой. Она пела старую песню про маленькую страну... В первый раз Дробов увидел Королёву в армии – по воскресеньям, свободным от нарядов, разрешали смотреть телик, и во время этих просмотров обязательно на экране появлялась новая, жутко модная тогда, а главное, по-настоящему юная певица – Наташа Королёва. И пела так, что солдаты стонали: «Почему умирает любовь? Мне никто никогда не ответит...»

Это был то ли самый конец девяностого, то ли начало девяносто первого. Свежие лица на эстраде были еще редкостью – в основном продолжали петь всякие Софии Ротару, Людмилы Сенчины, Аллы Пугачёвы, старавшиеся выглядеть по-современному, – и парни гадали, на самом ли деле эта Наташа Королёва такая уж молодая, из народа, или стояла где-нибудь десять лет на подпевках и теперь дождалась своего часа... Гадания происходили после отбоя, быстро перетекали в признания, что вот бы эту Наташу сюда – мягонькую, уютную, или лучше жениться на такой девчонке, уже наверняка при деньгах... Наташа Королёва была предметом и дробовских солдатских фантазий.

Сейчас ей наверняка лет сорок. То исчезает из телевизора, то появляется. Где-то читал, что у нее свои магазины, замужем за популярным стриптизером Тарзаном, который тоже мелькает в телике... В общем, держится на плаву, в поле зрения. Как и большинство подобных ей эстрадниц и эстрадников, появившихся в начале девяностых. Кто там еще был из новых? Ветлицкая, конечно, – у этой действительно голос потрясный, песни качественные, клипы стильные, нереально крутые для того времени... Алёна Апина, Татьяна Овсиенко, Лика Эм-Си... Хм, или Лика Стар?... Лада Дэнс... А кто пел энергично: «Дави на газ! Всё будет джаз, всё будет джаз»? Лика Стар, кажется...

– Переключи, – с легким раздражением попросила жена.

Дробов очнулся. На экране танцевали длинноногие поджарые девушки, а огромный бессмертный Шуфутинский скуп, как одолжение, выпускал изо рта в микрофон слова:

Так лучше веселиться, чем работать,
Так лучше водку пить, чем воевать.
И вспоминать за мамыны заботы,

И белые костюмы одевать.

Дробов испуганно ткнул пальцем в кнопку.

– Хм, не замечала, что тебя на попсу потянуло, – усмехнулась Наталья.

– Да это я так... задумался, – и он снова стал путешествовать по каналам.

Малахов что-то выспрашивает у заплаканной женщины... реклама «Тайда»... реклама «Мегафона»... тайны египетских пирамид...

– Пойду в компьютере посижу, – сказал Дробов. – Надо на завтрашнюю репу настроиться.

– Конечно, Алёш, – и жена погладила его по руке.

Компьютер у них был один. Стоял в комнате дочки – отдельный стол, незамусоренный бумажками, безделушками. Наталья, испытывающая уважение к любой электронике, очень заботилась о стиральной машине, холодильнике, телевизоре, дивиди и, конечно, о компьютере. Стол с программным блоком в специальной ячейке, монитором, клавиатурой, решетками для дисков вообще выглядел как некое домашнее животное из фильма про будущее...

– Настя, – заглянул Дробов в комнату, дочка как раз сидела за столом, – ты мне уступишь на часок?

– Сейчас доиграю...

– Давай. Позовешь.

– Угу.

Дробов прошел на кухню, налил себе с полчашки чаю. Встал у окна. Начинало темнеть, во дворе за тополями играли дети, дальше серели гаражи-ракушки, которые уже года два как обещали снести...

Они жили недалеко от метро «Профсоюзная». Панельный девятиэтажный дом, неподалеку маленький парк, пруд... Когда родственники узнали, что Алексей и Наталья решили пожениться, естественно, возникло беспокойство, где они будут жить. У ее родителей двушка, у его – тоже. Денег, чтобы снимать отдельное жилье, не было. И тут двоюродная сестра Натальи, которая к тому времени лет пять жила в Германии, объявила, что отдает свою московскую квартиру молодым в бесплатную аренду. Сама разобралась с тогдашними жильцами, и после свадьбы Дробов с женой въехали сюда, с тех пор здесь и живут. Уже второе десятилетие.

Дробов благодарен Наташиной сестре. Во многом, наверное, благодаря ей семья у них сохранилась: невозможно представить, как бы они жили или с ее родителями, или с его... Вон этот идиотский вроде бы, но вообще-то достоверный сериал «Вороны» наглядно демонстрирует, каково оно, житье в семейной коммуналке... Жуть и бред... Да, благодарен. Но тревога постоянно появляется, тербит, щиплет: а если сестра решит вернуться, или деньги понадобятся, или, не дай бог, умрет... А аренда двушки сейчас – тысяча долларов самое-самое малое... В общем, в подвешенном состоянии они всё это время. И ведь, интересно, за двенадцать лет не прошло это ощущение.

– Пап, свободно! – позвала дочка и попросила, когда он усаживался перед монитором: – Только не очень долго, ладно? А то я уровень до конца не прошла... сохранилась... А потом уже спать.

– Ладно, постараюсь.

– А что ты будешь смотреть?

– Так... – Дробов и сам толком не знал. – По работе надо.

– Насчет пива?

– Нет, по другой, по музыкальной. Почитай пока, или с мамой... Нельзя быть зависимой от компьютера. – И подумал: «Пора дешевенький ноутбук купить. Так вот просить каждый раз...»

Было время, они с женой почти каждый день заходили в видеопрокат, брали фильмы и вечером смотрели. Ужасики, комедии, мелодрамы хорошие, катастрофы... А потом повсюду появился интернет, набитый всевозможным кино, и видеопрокат исчез. И почему-то эти вечерние сеансы у них прекратились. А ведь куда проще – включил комп, нашел подходящую киношку и смотрит...

Сначала, традиционно, набрал в интернете «Stooges» – название любимой рок-группы. Может, что новенькое о ней появилось... Впрочем, что может появиться после смерти гитариста Рона Эштона?.. Теперь уж точно – история. Скоро и лидер группы Игги Поп уйдет в мир иной, или хотя бы на покой. Ушли на покой и Боб Дилан, и Дэвид Боуи...

В девяносто втором (или третьем, теперь уже точно не установишь) звукорежиссер Андрей Тропило взял и выпустил две пластинки «Студжис». Это было удивительно – никто, казалось, не знал, что это за группа, и мало ли этих ныне прочно забытых групп существовало в шестидесятые-семидесятые... Ну купят сотенку экземпляров... Может, и действительно мало купили, и Тропило прогорел в коммерческом плане с этими пластинками, но число поклонников давно распавшихся «Студжис» именно в начале девяностых стало расти. Причем не только в России.

Лет десять назад «Студжис» собрались снова, записали новый альбом, много гастролировали, побывали в Москве. Дробов с женой ходили...

Да, новостей почти не было. Вот Элис Купер советует молодым музыкантам слушать «Студжис», «Ху», ранних «Роллинг Стоунз» и быть безбашенными рок-н-рольщиками... Дизайнер Джон Варватос включил песню «Студжис» «Down on the Street» в число пяти главных рок-треков всех времен... О «Студжис» вспомнили на вечере памяти Джонни Рамоне...

Дробов изучал ссылки на группу «Студжис», а в голове продолжало вертеться неожиданно вспомнившееся «Дави на газ!..» Кто же ее все-таки пел?

Нет, оказывается, не Лика Стар, а Светлана Владимировская. Нашел даже клип девяносто четвертого года. В белом кружевном костюмчике, коротко стриженная, рубит, мечась по сцене: «Вперед, машина любви! Дави на газ! Давай, мой мальчик, дави на газ!»

Да, песню помнит, а певицу – нет.

И где ты теперь, Светлана Владимировская?

К своему удивлению, тут же обнаружил статью о ней в «Википедии». Родилась в шестьдесят восьмом в Люберцах, окончила музучилище, стала солисткой группы «Клеопатра», потом начала сольную карьеру. В девяносто четвертом была признана певицей года. «После взлета своей популярности, в 1998 году, певица неожиданно уехала вместе со своим мужем в Красноярский край, в деревню Черемшанка. По телеканалу ОРТ показывали, что она была в общине Виссариона. Затем певица вернулась в шоу-бизнес в 2004 году». Да, два альбома с тех пор записала...

А Лика Стар?

Лика Стар («Лика Павлова, родилась в 1973 году»), оказывается, первая российская рэперша, «в начале 2000-х перебралась в Италию, где ее супругом стал дизайнер и владелец мебельной сети Анджело Сечи».

Еще такая Линда была. Причитала: «Я ворона, я ворона...» Ну, она до сих пор довольно активна, в определенных кругах известна и почитаема. «С 2008 года и по сегодняшний момент живет в Греции, выступает в дуэте с мужем Стефаносом Корколисом».

Так, ладно, у этих более или менее, но жизнь сложилась. А вот Барби... Хм, для этого ведь, скрывая и от себя самого, сел за компьютер. Чтобы узнать, что с ней, куда пропала. Может, она вообще ему приснилась, и песня эта про ресницы – тоже... Вот бы действительно придумать во сне такой хит, пусть попсовый, но который закрутится на языке у тысяч, и – прославиться.

Как набрать в поисковике? Набрал просто «Барби», и, конечно, выскочили ссылки на куклу. Покрутил ролик мышки – о певице ничего. Игрушка, коллекции, игры... Да, надо добавить «певица». И тут компьютер сам дополнил «Барби певица» именем и фамилией «Марина Волкова».

Марина Волкова... Двадцать лет назад то, как на самом деле зовут певицу, тщательно скрывалось. Дескать, просто Барби – такая вот девочка из сказки, поющая сказочные песни. Ну, не сказочные, но уж точно не обычные.

Дробов нажал «найти», и вот появились ссылки, выстроились сверху вниз, заголовками требуя, чтобы их скорее открыли:

Барби – Азбука любви (1992). Лучшая и разная музыка

Дискотека 80-х. Если кому-то небезразлична судьба певицы Барби...

Жизнь: Потеря популярности оборачивается депрессией
Открыл одну из ссылок. Побежал взглядом по строчкам:

В детстве я как-то увидел симпатичную девочку во всем розовом, распеваящую РЭП (нынче хип-хопом зовется). Помню, я дико фанател от нее. Потом она куда-то исчезла.

Некоторое время назад я задался целью найти хоть видео из той передачи. Но так и не нашел. И вот буквально вчера ночью я выцепил-таки на ютубе ее видео.

Ниже был экранчик. Дробов нажал на «плей». На экранчике появилась рябь, а поверх нее надпись: «Азбука Любви – “Красишь ты ресницы”. Аккаунт You Tube, связанный с этим видео, удален за неоднократное нарушение авторских прав».

– Ясно, – Дробов крутанул ролик. Стал читать комментарии пятилетней давности.

Надо же, я эту песню обожала. Ходила, распевала с подружками. На магнитофон с телевизора записала. Удивительно – никакой ностальгии, одно отвращение.

Через какое же вы отвращение прошли, что напевали ее:) я вот только один раз ее увидел по телику, но почему-то запомнилась. Она мне внешне понравилась тогда:))) хоть я и мал был.

Очень хорошо помню и девушку, и песню. Фанатеть не фанатела, но был период, когда это нравилось. Сейчас смешно...

Сейчас многое уже смешно:)

В комнату вошла дочка. Остановилась у двери и, Дробов почувствовал, стала смотреть на него, безмолвно требуя заканчивать.

– Сейчас, Насть.

– Уже десять почти...

– Пять минут.

Дочка ушла.

И я, и я ее помню!!:))) Мне тогда вообще лет 5–6 было:) Кажется, мне даже нравилось:))) Помню, была у нее еще песня про “часики с кукушкой” или что-то вроде этого. Помню еще, в те времена кукла Барби была предметом вожделения каждой советской девочки (хотя тогда уже не советской:) и я не была исключением:) В какой-то передаче (может, Марафон–15) она

рассказывала про то, что у нее есть настоящая кукла Барби, вместе с розовым магнитофоном, и даже показывала ее, кажется. Я уже всего не помню, но отлично помню, что это произвело на мою детскую впечатлительную натуру просто невообразимый эффект:))))))

Я ее так безумно любила, эту Барби!

Моя певица эта Барби,
Она живет в Москве,
Она прекрасна как цветок,
Как роза в хрустале!!!

Даже стихи писала про нее... мне было лет 12–13... Боже мой, просто супервоспоминания! И как время идет! «Азбука любви» еще была на аудиокассетах!!!

Газета МК в те времена много о ней писала!!!

Запомнилась мне эта девушка. Песни были исключительно о любви, с чем у Марины так ничего и не сложилось. А я вот ей не любовь хочу предложить, а нечто большее – всю Вселенную. Короче, если Марина жива, зовите ее ко мне.

Да она в Свиблово живет.))) Пьяница.)))

Пьяница... Не спешите осуждать. Не знаете, в какой ситуации сами завтра окажетесь.

Да...а. Помню, будучи подростком, тоже грезил о ней. Жаль, очень жаль, что жизнь у нее не сложилась. Вспоминаю, и слезы на глаза наворачиваются.

Сижу на работе, и вот совершенно ни с того ни с сего начала напевать “Красишь ты ресницы...” Зашла в поиск, набрала “певица Барби”, и вот те на! Ваша переписка. Жалко девочку.

А вот если предложить ей попеть? Могу предоставить в распоряжение Марины Волковой кое-что из моего материала, который по разным причинам был забракован участниками нашей группы.

Дальше – ничего. Конец комментариям...

Утром, как обычно, был торопливый завтрак, почти час в метро, недовольная Света, склад, грузчики...

Дробов знал, конечно, что грузчики ночуют не здесь, что у них есть квартиры, семьи, но каждый раз, когда видел их, вялых, хмурых, в одной и той же робе, ему казалось, что вот так они и проводят всю жизнь – за забором, на складе, сидя или лежа на старых поддонах. Что ничего у них нет, никаких занятий, кроме разгрузки прибывающих тонаров и загрузки отбывающих «газелей» и «бычков»... Но, может, и он, Дробов, представляется им таким же, занятым лишь одним делом – развозом пива.

Да, так мы в основном друг друга и представляем. Не люди, а... как там?.. функции.

Дробов думал о вечерней репетиции. Совсем не та это будет репетиция, какую представляет жена, какой бы хотелось ему самому. Не материал для нового альбома они вечером будут набирать. И, лежа вчера вечером рядом с Натальей, после того как почитал про Барби, он хотел признаться, что за деньги приносит время от времени сверх зарплаты, туманно поясняя: премия, временное повышение... Готов был, но не смог. Не из-за боязни упреков, что, типа, а

почему раньше не сказал... Нет, вряд ли она будет что-нибудь говорить такое. Другое удержало – стыдно было сказать, какие песни их группа уже года три играет в клубе «Одна шестая».

Клуб был стилизован под ресторан советского времени, и живой звук там соответствующий: иногда выступали известные в прошлом певцы и певицы, группы, популярные лет тридцать назад, а нынче играющие на корпоративах или на таких вот площадках, а когда никого более или менее именитого арт-директору отыскать не удавалось, звали группу «Антидот».

И одно дело, если бы исполняли свой репертуар или хотя бы близкие по духу песни... Попытки поначалу были.

– В Советском Союзе панк-рок неплохо знали, – помнится, доказывал барабанщик Паша Гусь, знакомый с арт-директором «Одной шестой». – Записи «Пистолетов» ходили, «Клэш»...

– Игги Поп еще в семьдесят пятом в Москве побывал, – вставил Дробов.

– Да? – арт-директор заинтересовался. – И что, концерт дал?

– Нет, конечно... Туристом.

– Ну, туристом! Туристом к нам и Прабхупада приезжал. Мало ли кто... Нет, ребята, беру вас на своих условиях...

Главным условием было исполнение песен советского периода. Точнее, семидесятых – начала девяностых годов.

– Без глубокого андеграунда, – уточнил арт-директор. – Лоза с «Примусом» – самый край. Можете аранжировать поживее, но, ясно, не до панка. Нельзя ломать имидж клуба.

– А слова можно переделывать? – спросил Макс, басист.

– Как?

Макс вдруг запел жалобным голосом:

Плачет девочка с автоматом —
Больше некого убивать.
Вся в слезах и губной помаде,
Ох, как хочется пострелять.

– Не стоит, – серьезно ответил арт-директор. – В общем, определяйтесь.

После этого парни зашли в кафешку, взяли водки и стали спорить.

Спор был острее и жесточеннее, чем раньше, когда пытались решить, как будет звучать новая композиция... И спорить тем более было неприятно, тяжело, что все понимали: ничего нового в результате не появится.

Правда, поначалу общались довольно спокойно.

– Понимаете, – говорил Паша, – хоть какая-то реальная деятельность. Реальные башли зарабатывать будем.

– Ну, блин, зарабатывать можно и в офисе, – буркнул Максим.

Дробов на эти слова усмехнулся:

– Кто нас в офис возьмет? Там уметь что-нибудь надо.

Получилось, что этими словами он поддержал Пашу. Тот воодушевился:

– Вот-вот! Сколько лет перебиваемся, а тут будет хоть чем за студию платить.

– Но ведь... – включился в разговор Андрей, соло-гитарист, основной вокалист и по факту лидер группы, – но ведь это предательство.

Паша вскипел:

– Кто кого предает? Кто?!

– Мы все.

– В смысле?

– Если мы начнем попсу лабать, мы предадим свою музыку. То, чем пятнадцать... двадцать лет почти жили.

– Да почему! Разучим несколько песен, будем исполнять их раза три в месяц, получать за это гонорар. А остальное время – наше.

Дробов опять усмехнулся:

– Все попсари с этого начинали.

Паша грустно на него посмотрел:

– Нам уже поздно попсарями становиться. Вообще хоть кем... Графов Монте-Кристо из нас не вышло.

– Что? – наморщил лоб простоватый Макс.

– Он имеет в виду, что панк-рокерами мы не стали... Но предавать свою музыку я лично не буду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.